Солнце Правды

Художественная литература 2026

Солнце Правды

Вместо предисловия

Наверное, уже пора — я давно собиралась это сделать, и пора в том смысле, что скоро может быть поздно.

Я умираю от рака, вот в чем дело, а давно собиралась написать все как есть. Не то чтобы вот прямо завтра умираю — это Господь знает, сколько Он еще даст мне. Но у меня множественные метастазы в легких, химия не очень получается, и, если говорить по-человечески, прогноз не очень.

Мне 52 года, и я монахиня. Меня постриг архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт здесь, в Москве, 3 января 2018 года, в день памяти святой благоверной княгини Иулиании Вяземской и Новоторжской. Тогда я еще ходила, а теперь нет — но не напрямую из-за рака, а из-за осложнений на химию и лучевую терапию.

Это еще не все. У меня есть сын, ему будет 30 лет, он инвалид, его отец был самоубийца. Сейчас он живет у родственников своего папы в Череповце, рвется ко мне, утешает меня так, что мне хочется залезть на стену. Например, старается поговорить со мной по телефону побольше и все время повторяет: «Я люблю, когда ты спишь — во сне ты не помнишь о своих страданиях».

А мне очень хочется куда-нибудь просто пойти… Например, в зеленую дымку Покровского монастыря, к Матронушке. Раньше, когда я работала в миру, на улице Большой Андроньевской, я почти каждый день ходила мимо.

Люди говорят «я пойду», «схожу», «съезжу» и даже не знают, сколько счастья стоит за этими простыми словами.

Еще я немного раскисла, признаю это. Господи, помоги моему неверию. Вчера отец Игорь показывал мне старый фильм про Авраама, как он шел за Господом. А я сказала — батюшка, простите, я скажу. Я вот вспоминаю о жизни матушки Феодосии — мне Господь дал ее повидать перед ее кончиной, она лет 20 лежала, вспоминаю житие преподобномученицы Марии Гатчинской, да вот и сегодня день Матронушки. А ведь все они получали какое-то подтверждение от Господа, а тут как стена.

Чуда, говорит, хотите, лестницу во сне увидеть?

— Немножко, — говорю.

— Богооставленность. Она будет в последние времена.

И все равно за жизнь цепляюсь. Вот, говорю, Господи, дай дела в порядок привести — я имею в виду с сыном. А Авраама спрашивали: куда ты идешь за своим Богом? А он руками разводил — не знаю!

Что я буду пытаться рассказать? Жалкий, ничтожный человек, что? Надо выстоять. Вот что. Больше ничего. СТАТЬ монахиней и выстоять. Найти точку опоры. Подняться. Господи, помоги моему неверию. Дай быть с Тобой, Господи. Дай сказать Правду. Не оставь меня, Господи, и

прими эти написанные в последние два года строки в милостыню за душу Александра, дорогого моего Саши. Что я еще могу сделать для него?

И нас не оставь молитвами Богородицы, всех святых и убиенного батюшки Игоря.

В руки Твои, Господи, предаю нас всех.

Пришел час испытаний.

Солнце правды

Твой профиль выступает из стены. Я прохожу мимо после литургии и вглядываюсь в лицо – медные черты почти точно повторяют всамделишные, и странно и страшно видеть тебя таким. Я молюсь про себя: «Господи, Иисусе Христе, помилуй нас». Больше не знаю, что сказать: ты ведь не был крещен и - самоубийца. На мемориальной доске выбита твоя строчка: «Нет тех, кто не стоит любви».

Прошло почти тридцать лет с того дня, как я впервые приехала с тобой в твой родной город, и подышав несколько дней дымом его огромного завода, мы уехали в деревню в самую глушь Белозерского края.

Иногда по ночам над лесом было видно свечение – не в той стороне, где город, а там, где светиться было совершенно нечему. Только через тридцать лет я узнала, что за лесом, если идти напрямую, в километрах пятнадцати от нашей деревни рассыпается на вершине горы брошенный еще в 30-х храм, где почивают под спудом мощи одного из заволжских старцев.

Шел 1987 год. Тогда мы смотрели в другие стороны.

Часть I

«Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, за вину отцов наказывающий детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.»[1]

Спас-гора. 2016 год

В июле в десять вечера здесь почти светло – мы на Русском Севере. Солнце садится за кроны деревьев – их темно-зеленый узор тянется по всему горизонту: вокруг простираются некогда обширные и непроходимые белозерские леса.

Тихо, – только звонко, на высокой ноте, поют приставучие комары и быстро проходящий среди деревьев ветер заставляет ненадолго трепетать листву. Мы – в сердце земли, которую раньше называли Северной Фиваидой, – или русской монашеской ойкуменой.

Один из ее форпостов – вернее, его руины – как раз возвышается у меня за спиной, на вершине самой высокой горы Белозерского края.

Остов старинного храма, закрытого в 1937 году, сегодня выглядит так, словно его бомбили: обсыпавшиеся стены, груды кирпичных обломков разъезжаются под ногами, а в том приделе, где были взорваны своды и купол, растут деревья: уже не народ Божий, а «сосны клонят головы свои, совершая воздеянье рук, и перебирают в забытьи четки ледяные на ветру».

Глубоко в земле, под тоннами кирпичей, скрывшими полы старинного храма, спят под спудом

мощи одного из белозерских нестяжателей, – преподобного Даниила Шужгорского, основателя некогда стоявшего тут монастыря.

Этот монастырь дал жизнь целому краю, когда вслед за монахами, в поисках уединенной жизни уходившими все дальше на север, на здешних землях начал селиться народ Божий: вставали в лесах скиты, из них вырастали монастыри, вокруг монастырей основывались деревни, и повсюду кипела трудная, но спасительная жизнь.

Вперед и вверх

«Велие бо дерзновение ко Господу стяжал еси», – этими словами заканчивается молитва преподобному Даниилу. По сведениям епископа Амвросия (Орнатского) монах Даниил был родом из «стран московских», но Богу известными путями для подвигов избрал не столичную обитель со сложившимся укладом, а путь на Север. Все это было в 16 веке.

В Вологодских пределах шумел тогда кронами великий Комельский лес, простиравшийся на сотни квадратных километров. В его укромных чащобах находили желанную пустыню многие отшельники, и среди них – один из последователей Нила Сорского, монах Корнилий, известный нам сегодня как преподобный Корнилий Комельский.

Как и другие, он пришел в этот лес на скитское житие. К нему притекала братия, из скита скоро получился монастырь. В нем-то с именем Даниил и принял постриг пришелец и после того, как научился основам монашеского делания, вышел из Комельской обители и двинулся в сторону Белого озера, – вслед за холодом, на северо-запад. Монах Даниил искал уединения, и Господь привел его на место, которое называли Шужгорой – самую высокую точку Белозерского края.

Это место пользовалось дурной славой. Люди обходили гору стороной — бесы выли, плясали на ней: с древности здесь было велесово капище.

Кроме духовных трудностей в переизбытке были и обычные, житейские. Климат тут тяжелый, «зона рискованного земледелия», как теперь говорят.

Зимой трещит лютый мороз, лето совсем короткое, а по-настоящему теплым бывает только один месяц – июль.

Мы трижды пытались добраться на эту на гору.

В первый раз, – в сентябре, – заблудились и не дошли. От ближайшей деревни до Шужгоры нужно идти несколько километров по лесу. В эту деревню приехали поздно, времени оставалось мало – скоро темнело, а вечером был поезд до Москвы. “Избави меня, Господи, от дьявольского поспешения”[2]: а мы торопились, шли едва не бегом, выйдя к развилке, помолились наспех, и понадеявшись на себя, конечно, из двух расходившихся дорог выбрали неправильную. Не сразу это поняли – долго и решительно шли черными колеями лесовозов по желтому лесу, пока не началось нечто странное: на нас стали садиться какие-то насекомые с цепкими лапками, все больше, больше и больше. Их были сотни, они набивались в волосы, в брови, в одежду, не отцеплялись, – еще и через несколько дней я находила их живыми в рюкзаке. Это были так называемые лосиные вши, сбрасывающие крылья, когда садятся на свою жертву. Нападение лосиных вшей, – хороший образ бесовских борений. Сказать по-честному, мы оттуда почти бежали.

Следующая попытка оказалась более удачной: в январе – а мороз стоял самый северный, под

тридцать, – местный житель Александр предложил доставить нас со своеобразным комфортом на самодельном древнем снегоходе прямо под гору.

Конечно, это было не совсем честно - не идти своими ногами, а ехать — но было так холодно, что мы согласились.

Молебен с акафистом Иисусу Сладчайшему совершали на горе, у входа в разрушенный алтарь, — промерзшие, с инеем на бровях. Мороз усиливался, щипал лицо, сводило от холода лоб, и даже небольшое тепло свечей в руках приносило облегчение: по крайней мере, не так коченели пальцы. Чтобы мы совсем не замерзли, Саша развел под высокой елью костер и время от времени отогревал нас горячим чаем.

Рядом в храме красовались на снегу волчьи следы. Скорее всего, волки здесь ночевали, но не в эту ночь, потому что с другой стороны стены была еще одна, совсем свежая лежка – лося. Огромное желтое подтаявшее углубление еще не успело замерзнуть, когда мы поднялись на гору: лось ушел прямо перед нами.

Третий раз мы пошли на Шужгору летом, в благословенном июле, когда северные прозрачные ночи, наконец, начали густеть в настоящие. Пошли, помня все предыдущие ошибки.

Помня предыдущие ошибки – не наскоро помолившись, пешком и по правильной дороге.

Все восемь километров лесного пути обрадованные нашим появлением комары и мошки не отставали от нас ни на шаг. Кто не кормил комаров на болоте или в лесу, не совсем понимает, каково это. Мошка – та вообще выгрызает кусочки плоти. А ведь во времена преподобного Даниила не было «Москитола», которым мы обливались с ног до головы, думала я, двигаясь по шужгорскому лесу. Как они терпели? В принципе были более терпеливыми? Меньше обращали внимания на себя?

«Представьте тела ваши в жертву живую, святую и благоугодную Богу, для разумного служения вашего[3]», – так и жили, в буквальном смысле по слову Писания?

Свет и тьма

«И свет во тьме светит, и тьма не объяла его»[4].

Когда на Шужгору пришел монах Даниил, люди боялись и близко подойти к ней. Здесь командовал велес – самый почитаемый на русском Севере демон – «скотий бог», покровитель магии, поэзии и музыки. Командовал до той поры, пока не пришел монах-отшельник и первым делом воздвигнув крест, не начал молиться.

Срубив себе келью, как за несколько веков до него преподобный Кирилл Белозерский у Сиверского озера, а до него – преподобный Сергий в радонежских лесах, он занялся умным деланием: молитвой и борьбой со своими страстями и миром падших духов.

Прошло немного времени, и узнав о подвижнике на лесной горе, к нему потянулись люди, также, как и он, жаждавшие подобной жизни. Вместе с братией преподобный Даниил выстроил храм, посвятив его Преображению Господню.

«Возведу очи мои в горы, оттуда придет мне помощь, помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю», – 120-й псалом, один из самых прекрасных, зовет нас поднять глаза и словно бы окинуть взором сухие, текущие в небо горы Синая, таинственное облако над Фаворо м и красные в рассветном солнце бока Иудейских гор. Множество важнейших событий Священного

Писания совершается на горах. Вот две фигурки поднимаются по горному склону – старый седой человек и мальчик с вязанкой дров на спине: это патриарх Авраам послушно ведет своего сына Исаака к еще невидимому жертвеннику, чтобы исполнить слово Божие. Восходит на гору горячий сердцем и легкий на ногу Моисей и спускается со скрижалями Завета. На горе Кармил пророк Илия торжествует над языческими жрецами. Перечислять всего не будем – достаточно сказать, что и все ключевые события Евангелия совершаются тоже на горах.

И что же делает сатана, глядя на все это? Не зря его называют «обезьяной Бога» – не имея в себе творческого начала, не способный на созидание, всю энергию он тратит на то, чтобы переиначивать и передергивать то, что сотворил Господь или делает человек, унаследовавший от своего Создателя способность творить. Дьявол словно кривое зеркало.

Его бесстыдству нет границ: мы знаем из Евангелия, что искушая Самого Господа, он возвел Его не куда-нибудь, а на гору. Горы не дают сатане покоя. Он рассылает своих демонов занимать господствующие высоты, – так было в прежние времена, и так происходит и сегодня. В древней Элладе демоны, изображавшие из себя богов, облюбовали Олимп. Стояли бесовские капища на древнем Афоне – «храмы», посвященные Аполлону и Зевсу – только после того, как Пресвятая Богородица взяла Афон себе в Удел, и туда пришли монахи, гора стала Святой.

Можно вспомнить и киевскую Лысую гору (заново освоенную язычниками в 21 веке), и гору Зедазени в Тбилиси, а вернее, в Мцхете, на которой стоял идол, сокрушенный святой равноапостольной Ниной, и где также некогда жили демоны. Да и множество других мест.

А было время, когда в демоническую тьму был погружен почти весь мир, – потому что весь он был языческим. И совершенно не важно, как именно люди представляли своих «богов», и в каком виде эти «боги» к ним являлись. Были ли они страшными, с песьими и птичьими головами, как в Древнем Египте; или упоительно прекрасны, как в поэтической эллинской цивилизации, или немного глуповаты, как у римлян, не творчески заскриншотивших у греков переименованный пантеон, все одно: и эллины, и славяне, и индейцы, и восточные народы поклонялись демонам, – причем одним и тем же, имевшим в подручных бесчисленные полчища мелких бесов.

Целые тысячелетия эти демоны, слаженно, как гигантская корпорация, работают на общее дело, действуя между людьми и целыми народами, модифицируясь, как вирусы и мимикрируя по отношению к среде, и с блеском исполняют любую роль, за какую только не берутся.

Понять, как они это делают, легко, если проследить карьеру какого-нибудь действительно хорошего актера. Сегодня он играет глубоко верующего человека, например, князя Мышкина, завтра – сериального преступника без мозгов, за пять лет до этого, с тем же блеском – героя-фронтовика, а завтра – свихнувшегося маньяка. И все это так убедительно, что невозможно понять, где же прячется за перевоплощениями сама личность. Подобное наблюдаем и у демонов.

У греков женственный Аполлон, – распорядитель муз и друг стихотворцев; Велес славянский– покровитель поэтов и музыкантов, Гений – личный дух человека из римской мифологии, – это одно лицо или одна компания? (Над которой начальствует Велиар, похожий на премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля в расцвете карьеры).

Те, кто хорошо знает Священную историю, следующие несколько абзацев могут и пропустить, – прежде, чем мы снова вернемся на Шужгору, я же, обложившись книгами, перескажу из нее кое-что, важное в нашем повествовании.

«Я Господь, Бог твой; да не будет у тебя других богов пред лицом Моим»[5], – первая заповедь, которую дал Бог святому пророку Моисею на Синайской горе, казалось бы, очень проста: чего уж проще – слушайся, человек, и шагай прямиком в землю обетованную.

Но не тут-то было. С тех пор, как лучший из Херувимов, взбунтовавшись против Бога, увлек за собой огромное количество ангелов и вместе с ними был низвергнут с Неба, он имеет одно маниакальное желание: отомстить и доказать Богу, что уж на земле-то владыка – он. И что он в состоянии сделать так, что лучшее Божие создание, – венец Его творения, – человек, поклонится не Господу, а ему, князю тьмы, и будет его боготворить.

Наша брань не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесной. Апостол знал, что зависть к человеку жжет злых духов беспредельно, и поэтому долгими тысячелетиями они, не уставая, плетут огромную сеть, раскинутую во времени и в пространстве по всему лицу земли, и стараются уловить в нее всех и каждого.

Лукавые, опытные, а главное, безсмертные демоны имели достаточно времени, чтобы как следует изучить людей и знают нас очень хорошо, – так хорошо, как зачастую мы не знаем себя сами. Или, вернее, не хотим знать.

Сеть, которую они под руководством князя тьмы плетут на протяжении всей человеческой истории, и есть та самая тайна беззакония, о которой говорит апостол Павел: «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь»[6].

Множество раз дьявол и его демоны уже были на пороге победы. Мы знаем, что весь первый мир был прельщен ими, – весь, кроме одного семейства, – и в наказание Господь потопом смыл его с лица земли.

А когда воды потопа сошли, и новенький и чистый, второй мир засиял под солнцем, Бог поставил между Собою и человечеством завет, сказав праведному Ною, что больше никогда «не будет уже потопа на опустошение земли», и дал знак этого завета – радугу.

Но дьявол не дремал – и вот до чего исхитрился: уже в наше время, в двадцать первом веке, прельщенные им люди превратили знак того, что Бог не потопит мир за его грехи, в символ самого греха – радугу сделали знаменем наследники тех, кто был попален в Содоме и Гоморре.

И теперь по всему земному шару они размахивают «радужными флагами» перед Лицом Божиим, а дьявол скалится: «Смотри! Что же Ты их не накажешь?»

После потопа потомки Ноя – его дети и дети его детей – селились по всем сторонам вновь открывшейся земли и – такова уж поврежденная природа человека – потихоньку зарывались в нее. Мир стал опять погружаться во тьму язычества и греха, и только у единиц оставалось искание Света. И даже история богоизбранного народа – Израиля – стала не только историей служения Истине, но и историей богоборчества, что в полной мере проявилось в новозаветные времена, когда они, наконец, наступили.

И отнюдь не просто так, а по домостроительству спасения Божьего, пока ещё языческий Рим – великая сила, удерживавшая древний мир от полной анархии – объединил земные пространства и народы в одну Империю: тем самым вселенная была приготовлена для проповеди Евангелия.

«Августу единоначальствующу на земли, многоначалие человеков преста. И Тебе

вочеловечшуся от Чистыя, многобожие идолов упразднися», – поют в храме в Рождественский сочельник.

Этот самый император Август правил Римом в тот великий год, когда в иудейском Вифлееме родился Младенец Христос.

И вот всему этому миру воссиял Свет, и тьма уже не могла объять его, и как искра Божия по проводам, побежала Благая весть по всей Империи, от Иерусалима в Рим и до самых глухих окраин, и тьма заклубилась, отступая.

Но и дьявол отнюдь не собирался сдаваться. Все три первых века христианства продолжалась схватка не на жизнь, а на смерть – схватка тьмы языческого мира, бесов, со Светом, рассеивавшим эту тьму. И реками мученической крови, пролитой за Христа, Истина восторжествовала.

А когда в Римской империи христианство перестало быть гонимой религией, и эра мученичества завершилась, знамя войны с духами злобы поднебесной подхватило иное воинство, – монахи.

Ангелы и демоны

«Каждый монастырь благословляет ту местность, где он построен. Благословляет весь мир. Умиротворяет все. Уходят демоны, приходят ангелы»[7].

Веками продолжалась битва, на передней линии которой сражались монахи – преподобные отцы, отвоевывая пространство у демонов – пядь за пядью, клочок за клочком, область за областью.

И страна за страной, народ за народом выходили на Свет, и пришло время, когда он досиял и до славянским племен. В Киеве, а потом и по всей Руси были порублены идолы перунов и велесов, сожжены или потоплены в водах русских рек, и тем самым были поруганы бесы, которым они посвящались. На отвоеванных территориях начиналась христианская жизнь, а монахи снова уходили вперед, не имея ни щита, ни копья, держа в руках лишь Крест Господень – оружие на дьявола, непобедимую победу.

Начало монашеским подвигам, заключавшимся не только в посте и молитвенном бдении, а и в физическом присутствии в местах, где безраздельно хозяйничали бесы, положил сам основатель монашества Антоний Великий.

Когда он только начинал свой подвиг, отшельничество еще не было распространено, и желавшие подвизаться оставались вблизи селений, и в их числе – Антоний. Однажды он «отправился к находившимся недалеко от селения гробницам, упросив прежде одного из знакомых, чтобы он приносил ему в известные дни пищу, – повествует житие, – тот запер его в одной из таких гробниц и там, в уединении, блаженный предавался безмолвию. При виде этого дьявол стал опасаться, что Антоний со временем вооружится против него пустынническим подвижничеством: собрав демонов, он, по попущению Божьему, подверг его таким ужасным побоям, что блаженный лежал после недвижимым и безгласным, о чем впоследствии он сам много раз рассказывал; причиненные ему мучения превосходили всякие человеческие страдания».

Едва живого, Антония нашел его знакомый и отнес в церковь, и уже совершали по нему заупокойную службу, когда монах вдруг пришел в себя и тут же попросил отнести себя

обратно.

Что и было исполнено. Не имея сил встать, Антоний молился, лежа лицом вниз, а когда закончил, сказал: «Бесы! вот я, Антоний, здесь. Не избегаю я борьбы с вами; знайте, что если сделаете что-либо и большее прежнего, ничто не может отлучить меня от любви к Христу». Но и дьявол не отступил: раздался «такой гром, что место это поколебалось в самом основании, и стены распались; и тотчас сюда ворвалось и заполнило жилище Антония множество демонов, явившихся в виде призраков львов, волков, аспидов, змей, скорпионов, рысей и медведей, и каждый из этих призраков обнаруживал свою ярость соответственным его виду способом… все они были крайне страшны по своему внешнему виду, а производимый их ревом шум был прямо ужасен». И хотя современному человеку, особенно живущему в городе, такие описания кажутся чем-то вроде детских сказок или средневековых легенд, мы и в жизнеописаниях современных подвижников – например, преподобного Паисия Святогорца – найдем подобное. И по правде сказать, почти у каждого из нас, есть этот опыт. Опыт воздействия демонов на человеческую волю. Животный страх, парализация воли, ночные развращения, оцепенение, безпричинная тоска — вот лишь несколько основных рычагов, которыми искусно владеют демоны.

Укрепляемый Господом монах Антоний, как и подобает воину Христову, не только не отступил, но и укрепленный Богом, одержал победу, и потерпевшие поражение злые духи оставили те места.

Другой Антоний, – основатель монашества русского, – вернувшись на родину со Святой Горы Афон, обойдя киевские монастыри, не нашел для себя места лучшего, чем пещерка, ископанная на крутом берегу Днепра. Из этой-то скромной пещерки и выросла Киево-Печерская Лавра, давшая миру целое воинство святых – подвижников и святителей, много потрудившихся для того, чтобы Свет Христов проник в самые дальние уголки Руси.

Также, – из маленькой келии и церкви, срубленной преподобным Сергием в самой гуще радонежских лесов, – выросла потом и другая Лавра.

Там, в лесах, «претерпевая искушения и страхования бесовские, преподобный восходил от силы в силу», к нему пробирались лесными тропами искавшие монашеского жития и безмолвия, и пришло время, когда на этом месте взмыли к небу купола Троице-Сергиевой Лавры.

Вокруг нее стали селиться люди, образуя посады, а ученики игумена земли русской - так народ прозвал преподобного Сергия - подобно апостолам пошли на Север русской земли, доходя до самых крайних ее пределов, основывая монастыри, сиявшие как маяки на суровых утесах. И не выдерживая этого Света, бежали прочь поверженные демоны. Так создавалась и Русская Фиваида – монашеские “крепости” и “форпосты” в нынешней Вологодской области и в Белозерье, на Севере нашего Отечества.

Спас-Гора – расцвет и упадок

«Монашеское дело – молиться», – писал в своих письмах, обращенных к молодым монахам, старец Паисий Святогорец.

Преподобный Даниил Шужгорский жил на своей горе, молился, постепенно к нему стала стекаться братия, и был основан Преображенский монастырь и построен храм с двумя приделами, главный – в честь Преображения Господня и второй – в честь преподобного Даниила Столпника, небесного покровителя основателя монастыря (видимо, именно в этом

приделе и спят под землей его святые мощи).

За братией потянулся и благочестивый народ – вырубали лес, выжигали пни, строили деревни, и освященный и очищенный молитвой, некогда пустынный край наполнился жизнью. И вновь произошло преображение – Шужгора стала Спас-Горою.

В конце 16 – начале 17 веков на русский престол взошел Петр I. Этот царь и Великий князь всея Руси пожелал называться Императором, а для этого следовало провести много преобразований. И перемены пришли на Святую Русь. Прорубив известное окно, Петр I во многом модернизировал страну по западному лекалу и довершил дело тем, что применил его и к Церкви.

Теперь уже не монахи и святые обители должны были просвещать Светом Христовым русские земли, а академические духовные школы, заведенные по европейскому образцу.

Вместо богослужебного чтения житий святых в синаксариях и домашнего в четьях-минеях и подражания святым, как они подражали Христу, появилась так называемая научная, ''критическая'' агиография, а взамен опытного познания наследия святых отцов предлагалось изучать богословскую дисциплину – патрологию.

Вольтерьянка Екатерина II – преемница дела своего венценосного предшественника, – с энтузиазмом продолжила преобразования: то, что не докончил он, претворила в жизнь наследница его идей. Ополчившись на архаичный уклад русской жизни (основой ее была, конечно, православная вера, чистоту которой хранили именно монастыри), Екатерина провела секуляризационную реформу и одним махом упразднила примерно две трети монашеских обителей.

Ее действия еще не были богоборчеством в чистом, осознанном виде, но, несомненно, стали первым шагом в его сторону.

Спасогорский монастырь оказался в числе упраздненных. Преображенский храм стал приходским – и простоял, возвышаясь над лесами и окрестными деревнями, до 1937 года, когда его пытались взорвать. С тех пор прошло почти 80 лет, но еще живы люди, помнящие жизнь под сенью его крестов.

Воспоминания о последних годах храма на Спасгоре напоминают «Лето Господне» Ивана Шмелева – такой безоблачной и счастливой рисуется жизнь в глухом лесном краю, под пятью куполами Спасо-Преображенской церкви.

Говорят, что с его высокой, в шесть лестничных пролетов, колокольни в хорошую погоду можно было увидеть даже находящийся в пятидесяти верстах Череповец, не говоря об окрестных деревнях, лежавших как на ладони – Назаровской, Лилигумзя, Вельшино, Дыроватой – и «всех церквах», звон колоколен которых плыл над белозерскими лесами, созывая народ на службы.

Одна из деревенских девчонок через десятилетия, минувшие со счастливых дней ее детства, вспоминала: «Позвали меня как-то в дом священника пол мыть. Наталья Павловна, матушка старшая, на диване сидела, пряла. На следующий день опять позвали – лен трепать. Вечером пришли в дом священников, накормили нас. Все плясали, о. Василий Смирнов играл на балалайке, пели. Александра Николаевна, жена о. Василия, все говорила мне: “Вырастешь - замуж тебя отдадим за нашего Николая”. Хорошие были и батюшки, и дьякон, отец Василий Першаков. Ласковые. Каждого пожилого человека величали по имени-отчеству: "Офимья Дмитриевна».

А под Преображение по деревням шел большой крестный ход – выходили из Пугорки, шли в Вельшино, там ночевали, и с хоругвями, с иконами, обвитыми цветами, шевствовали дальше – через Дыроватое, Назаровскую, Лилигумзь, – на гору, к храму.

От Пугорки, отстоявшей от горы на полкилометра (сейчас от нее и следа не осталось) до самой вершины было не протолкнуться, так плотно шел народ: «Идем вместе, держимся друг за друга, – как отцепишься, так сразу в толпе и затеряешься», – всплывают из воспоминаний образы прошедших дней.

Как черно-белая кинохроника, мелькают лица – улыбается бабушка в завязанном под подбородком платке, мужики в светлых рубахах несут иконы, крестятся бабы, встряхивает крупной головой невысокая лошадка.

Где теперь эти праздничные толпы, в которых приходилось держаться за руки, чтобы не потеряться? Где веселые свадебные тройки в колокольчиках? Ярмарки? Где эта жизнь? Нету, разлетелась как дым, и пустота проступает сквозь силуэты и лица.

Нет больше этих деревень, – ни одной. Ни Дыроватого, ни Вельшино, ни Пугорки. Нет больше ни Лилигумзя – деревни с непривычным русскому уху названием. Нет полей. Нет даже погоста у храма на Спас-Горе, и теперь не найти, где похоронен его последний священник, отец Василий Смирнов. Только лес качает тяжелые ветви, скрипит и дышит, и кажется, кто-то смотрит прицельно в затылок, когда идешь к храму по заросшей тропе.

Казакова

После революции с религией боролись все – и комиссары, и простой народ, и тем более, интеллигенция, бывшая в этом деле первой с той поры, как зародилась на стыке двух веков 19 и 20. Одна из ее представительниц, Сима, рассуждает в романе Бориса Пастернака «Доктор Живаго» о «молитвах на Страстной неделе»: «Наверное, я очень испорченная, но я не люблю предпасхальных чтений этого направления, посвященных обузданию чувственности и умерщвлению плоти. Мне всегда кажется, что эти грубые, плоские моления, без присущей другим духовным текстам поэзии, сочиняли толстопузые лоснящиеся монахи». И хотя всякому церковному человеку совершенно очевидно, что песнопения Страстной Седмицы – едва ли не самые красивые и глубокие в нашей святой Церкви, борение, разжигавшее сердца огнем противления – тем самым, которым возгорелся Денница, восставая на Бога – заставляло видеть дурное там, где все было гармонично и хорошо.

Главный герой этого романа, с документальной точностью запечатлевшего самый дух времени, думает о Симе: «Какая талантливая и умница». В то время они много размышляли и говорили о «христианстве» и вовсе не отрицали его – отрицали только самую Церковь с «лоснящимися монахами».

На эти дрожжи ловко село обновленчество, в союзе с новой властью двинув навстречу народу свою, понятную, «красную церковь», и разрослось так, что еще и после войны находились на теле святой Русской Церкви его болезнетворные очаги. Находятся они и ныне, подпитываемые тем же образом, что и в 20-30 г.г. – конечно, теперь уже не государственной властью, но самым духом «живого христианства», заменяющим в умах современных Сим «темное и косное» отеческое православие, академическим модернизмом.

До Спас-Горы кровавая волна «борьбы с религией» докатилась не быстро – только к безжалостному 1937 году, но все-таки докатилась. Никто в этот медвежий угол «красных попов» не слал. Действовали без затей и без церемоний – повелели богослужения прекратить.

Это было сделано 18 августа – намеренно под престольный праздник. Еще ничего не понявший народ на Преображение все равно потянулся на гору.

Служба не шла, но ворота были открыты, а внутри творилось страшное: ходила женщина в пиджаке, инструктор Белозерского райкома партии Казакова. За ней подобострастно тусили приехавшие из района мужички. Казакова тыкала палкой в иконы, командовала: «Снимайте!» Те, что висели повыше, сама палкой и сбивала – иконы срывались с древних стен, летели оземь. Доски гулко бухали, ударившись об пол, разламывались надвое. Это были страшные, немыслимые звуки.

Ошеломленный народ смотрел молча – не участвовал, но и не вмешивался, не защищал, а потом и вовсе к новой жизни попривык – и вот уже тащили металл с кровель храма, перековывали на ведра, на противни, торговали ими по деревням. Бойко ли шла та торговля?

Еще виднелся в густой траве у храма камень с отпечатавшимся на нем следом стопы: говорили, что это преподобного Даниил Шужгорский встал на камень, когда строил церковь. О ее последнем священнике оставила воспоминания дочь батюшки, Тамара Васильевна Смирнова.

«Мой папа учился в Новгородской семинарии. С мамой, Александрой Николаевной, они обвенчались в 17-м – в год революции. Папа был добрый, бедные его очень уважали. Приход был скромный, мало кто жил зажиточно.

Мама знала грамоту – родители и меня учили: я, когда в первый класс пошла, таблицу умножения знала и весь алфавит. Стихи читала – Пушкина, Кольцова, Горького, Демьяна Бедного. В первом классе пробыла только до зимних каникул, – перевели во второй».

На этом школьные радости закончились. Дети начали дразнить Тамару – «поповна!» Отец как мог утешал: «Не переживай, они маленькие, вырастут – перестанут».

Потом церковь обокрали – унесли богослужебные сосуды, “золото” в понимании властей. Возможно, это было сделано намеренно. На священника написали донос, прибавив к обвинению в краже заявление о том, что у него хранится оружие. Какое, чье?

Отец Василий оправдываться даже не пытался - ни в милицию не побежал, ни к властям – жил как прежде и просто ждал, что будет. Наконец за ним пришли, – как тогда водилось, под вечер, почти ночью.

Вооруженные чужие люди хозяйничали в избе, переворачивали шайки – искали под ними золото, вспоминала батюшкина дочь Тамара. Беременная матушка закрывала собой детей, чтобы те не пугались. Дети все равно плакали.

Не найдя под шайками золота, ночные визитеры отца Василия увезли. Потом приходили еще, вновь переворачивали дом вверх дном, но, разумеется, безрезультатно. Через три месяца батюшку отпустили, – можно сказать, легко отделался, ни лагеря, ни расстрела, – но больше он не служил: храм к его возвращению был закрыт и взорван, правда, неудачно, – древняя кладка устояла, рухнул только свод над центральной частью.

Отец Василий пошел работать на лесоповал – нужно было кормить семью: троих детей, матушку в положении и слепую тещу. Получил на работе увечье: грузили бревна, одно сорвалось и зашибло батюшке ногу.

Тогда, как рассказывала со святой простотой его дочь, он сделал себе костылик, привязал его к колену и ходил, как с протезом. Болело, но он терпел. Это случилось еще зимой, но так и

доходил со своим костыликом до зенита лета. Начался сенокос. На все руки мастер, отец Василий смастерил дочке маленькую косу и стал брать ее с собой (Тамара была старшая из детей) – не для умилительной картины, а чтобы выполнять норму. Все, что скашивали, сдавали в колхоз – до последней травинки.

В один из дней на сенокос приехала Казакова – и сразу ринулась к своей жертве: «А, Смирнов! Что ж ты, Смирнов, хлеб-то не сдаешь?» Хлеба у них не было, – ничего не было, только тем и жили, что приносили те, кому в прежние времена помогал отец Василий: бедные крестьяне из Лилигумзя, Назаровской, Дыроватого.

«А вот мой хлеб, – сказал священник, показывая на дочь – весь тут. Да дома теща слепая, да двое маленьких».

Казакова кривила жесткий злой рот, оскорбляла, припомнила и донос: «Как же нет у тебя хлеба? Ты ж золото сдал, – целый воз хлеба на него купил!»

Тамарочка не выдержала, разревелась. Потом, дома, несчастный, затравленный, отец все повторял ей: «Запомни, запомни, – где бы ты ни работала, где бы ни жила, никогда, никому не говори, чья ты дочь!»

Покалеченная нога болела все сильнее. Когда терпеть было уже невозможно, он поехал в Белозерск – в больницу. Ногу ампутировали, но было поздно – видимо, шла гангрена: в больнице отец Василий и отошел.

Матушка его бедная, беременная последним сыном, поехала забирать. Везла на подводе тело мужа к храму на Спас-гору – там и похоронили.

Некоторое время осиротевшая семья ещё перебивалась в колхозе, а потом перебрались в Белозерск – там без кормильца было полегче. Матушка устроилась сторожем в больницу. Дома тоже работала – шила людям одежду.

Их дом разобрали, перевезли в другую деревню – он был просторный, крепкий, – и устроили в нем начальную школу. До Казаковой дошел слух об этом. Она толком ничего не поняла, вернее – поняла все по-своему.

Как-то выросшая Тамара встретилась с ней на улице в Белозерске, узнала и – смелая – подошла. Та, уже пожилая, за минувшие годы не растеряла боевого духа. Сильнейшая брань была у нее против Церкви – так и жгла. «Вы стали учительницей?» – кинулась она на Тамару. «Нет, я медсестра». – «Вы – учительница! Это вы в поповском доме открыли школу! Зачем вы это сделали? Там же иконы висят!» Тамара в карман за словом не полезла: «Нет, я – медсестра. А вы – Елизавета Ивановна Казакова. Я девочкой была, когда вы к нам приходили! Папа уже на костыле ходил, больной. Вы последнее у нас отнимали!»

Та ничего не ответила, повернулась, ушла. Прошло еще время. Тамаре Васильевне дали в райсобесе поручение: посетить одинокую старушку. Она взяла адрес, пошла. Постучала – на пороге стояла Казакова.

В доме только и были, что печь да скудная деревянная мебель, – коммунистка Елизавета Казакова трудилась бескорыстно и ничего, кроме ненависти, не нажила, В бедности заканчивала она свои дни – одинокая, никому не нужная старуха, все мечты которой о коммунистическом рае обернулись разбитым корытом. Но Господь еще протягивал ей руку Свою, слал к ней Тамару, ждал примирения. Увидев ее в дверях, Казакова раздраженно спросила:

– Это опять вы?

– Я от райсобеса, пришла узнать, как вы живете.

– Вы видите, как я живу.

– Вам нужна помощь? Что-нибудь нужно?

– Ничего мне не нужно. Уходите.

Через некоторое время Тамаре в райсобесе сообщили, что Казакова умерла. Похоронили ее в Белозерске.

Другой Отец Василий

Ночью пустынно на Шужгоре – нет людей, и только льнет в лунном свете к шершавой стене тень мохнатой еловой ветки. Дереву почти сто лет, и оно многое помнит, но стены помнят больше. Ангел, невидимый, молится за Престолом. Он тоже все помнит – всех, служивших и молившихся в этом храма. Помнит их лица, дыхание их молитв. Облачения, желтые стихари. Как ставили свечи, целовали иконы, здоровались, клали деньги на поднос, стоявший у входа. Помнит и Марфу Михайловну, дьяконову жену, и их деток – четырех девочек, Нюшу, Тоню, Маню и Галину. Вот тут они обычно стояли, окружив мать, где теперь скрипит старыми ветвями липа с морщинистой корой.

Помнит Ангел и диакона Василия Першакова с орарем на плече – он был среднего роста, а длинные волосы собраны сзади в хвостик. Он же и регентовал – управлялся с певчими. Наемных не было – только свои, из прихожан. Сам пел красиво. И человек был хороший, добрый.

Дали ему, когда храм закрыли, 15 лет – 10 лет лагерей и 5 – ссылки. Освободился в 1949 году, но милость Божия – став то ли до своей отсидки, то ли после, уже вряд ли узнаем – священником, выйдя на свободу, еще много лет прослужил у Престола Господня. В конце 50-х его разыскал один из бывших земляков, Владимир Смирнов, и написал ему. Батюшка отозвался с радостью, как пасхальный колокольчик.

Какое необычное это письмо и какой благодатью дышит! После лагерей и разоренной молодой жизни, своих страданий и страданий своих детей, горьких лет, скудного хлеба, страшных трудов и слез, замерзавших, должно быть, на лагерном морозе, – ни слова укора, ни тени ропота, ни одной интонации обиды и недовольства, только любовь и благодарение Богу. Какая в письме правда, и как оно разница со строками другого узника советского архипелага — гулага.

Как радуется батюшка этой весточке из прошлого – письму односельчанина! Как выспрашивает про тех, о ком лет сорок не слышал! «Жив ли Иван Петрович и кумушка моя Авдотья Корниловна? Жива ли Надежда Яковлевна Голованова, живы ли Шура и Поля Голованова, живы ли Федосья Сергеевна, Николая Нифонтовича?»

А у Господа все живы, и у отца Василия в помяннике – тоже: сколько служил, всех поминал, всех-всех, неопустительно: «Сердце мое радуется, что Господь сподобил встать на Высокий Пост и молиться за весь мир. Большие сотни записаны в синодики, кто и зло творил, не вычеркиваю. Радости моей нет границ».

Батюшкин адресат, Владимир Иванович Смирнов, был счастливым обладателем фотоаппарата

и неоценимый подарок сделал старичку-священнику под конец его дней: прислал ему фотографию родного Спасо-Преображенского храма. И отец Василий нарадоваться не может – и письму, и фотографии, и пишет, пишет:

Христос посреди нас, и есть, и будет!

«Дорогой Владимир Иванович, будьте здоровы, веселы и счастливы на многие и многие годы. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и Его Пречистой Богоматери да почиет над вами во всю вашу дорогую жизнь!!!!.....

Без Бога не до порога. Пути Промысла Божия неисповедимы, род человеческий всегда покоряется им. Сердечная Вам благодарность, Володенька, за ваши письма, за вашу добрую память обо мне. Я в свою очередь отдаю вам искренне-братскую во Христе любовь. Вы, мой милый, последовали своему папе Ивану Тихоновичу, Царствие ему Небесное.

Он не чуждался со мной, чувства родственности уделял ко мне.

Ты юношей был, не забыл меня до сих пор. Маменька ваша, Василиса Евсеевна, если она жива, то ей я должен только честь отдать и благодарность за вашу хлеб-соль, и не считала чужим. Ваше письмо меня затронуло до глубины души. Вы дальновидный человек. Ведь я теперь недолго наживу и с каким восторгом посмотрю на Эту Святую Обитель Преображения Господня и преподобного Даниила Шужгорского-Чудотворца.

И на эту гору высокую, на которой 25 лет изливал кровавый пот, раздирал, корчевал и большие камни выкачивал. Кто может вопреки сказать, опровергнуть мои правдивые слова? Никто. Господь тебе внушил, Володенька, и чувства родственности, и прислать этот памятник, моих детей родину.

Приезжал мой любимый Александр в Маковеево и (неразборчиво) был с женой и девочкой, но до Спаса не доехал.

Будет жив и здоров, в этом году собирается в гору на маленькой своей машине заехать.

Теперь спрошу, дорогой мой Володенька, жива ли мама твоя, Василиса Евсеевна, простите, забыл имя супруги Вашей, есть ли дети? Жив ли Иван Петрович и кумушка моя Авдотья Корниловна? Жива ли Надежда Яковлевна Голованова, живы ли Шура и Поля Голованова, живы ли Федосья Сергеевна, Николая Нифонтовича? И еще хочу знать, жив ли Погодин (непонятно) Петр К. и Настасья Поликарповна? Кто помнит меня, всем, всем искреннее приветствие. Недавно видел захаровскую Анну Васильевну и Лебедеву Александру. Стоял я с крестом в Череповецком Храме.

С 1 сентября с.г. на пенсию пошел, 50 лет прослужил. Слава Богу за все... Потрудился на ниве Христовой. Потрудился с ломом в руках и на Спасской горе. Когда бываете, Володенька, у Спаса, поинтересуйтесь, сколько каменья на межниках. поубирали мои доченьки и мелких камней. Они были послушны, научились жить по-хозяйски. Авторитетно работают по своей профессии. Сыновья тоже, сердце радуется. Обидели злые люди, отняли поле, разделанное мной. Лежал в больнице, полтора месяца в сенокос. От кости нарыв на ноге, надсадил. Пугорские убрали это поле, молодые мужики, богатыри, а давно в сырой земле.

Всех до одного поминал и понимаю у Престола Господня. Поминаю и Желобских всех, кого знал и помню. Сердце мое радуется, что Господь сподобил встать на Высокий Пост и молиться за весь мир. Большие сотни записаны в синодики, кто и зло творил, не вычеркиваю. Радости моей нет границ. После ссылки прослужил 10 лет. Служил в Вологде, служил в Череповце,

служил в Белозерске. Служил в Великом Устюге 5 лет. Ежедневная служба, 4 священника, а тянул один с дьяконом. В воскресные и праздничные дни 2 обедни без перерыва, ранняя с 6 часов утра, поздняя с 9-ти. Пять лет служил священником в Кириллове. Трудно было очень, много крестин. Бывали деньки, после обедни 100 человек окрестить. Взрослые, женатые, замужние и малыши. Крику сколько, ушам больно. Домой пойдешь, словно безумный. Терпение и труд все перетрут.

Зато теперь по гостям разъезжаю. Сейчас у Тоси и Саши в Ерге. У сыновей в своей лачуге поживу, потом поеду в Ленинград к сыну Пете, он баянистом в областном театре. Зовет брат родной в Пестово. Он на пенсии. Собственный дом богатый построил. Жить некому. Дом у реки Мологи. Интересно бы еще и Желоби (?) навестить. Годы стареют, 74-й год живу. Здоровье упало, силы не стало. Потаскался с мешком на плечах я немало, потный от ноши, и вшей покормил. Все перенес, под старость устроил Спаситель Христос. Где бы не послужил, добрую память оставил, с Великого Устюга и сейчас письма и телеграммы поздравительные шлют. От епархиального начальства авторитет. Не отпускали в заштат, но пришлось побороться и ехать в Вологду к Архиерею. Архиерей у нас новый, старого перевели в Астрахань. Указ в отставку мне подписывал новый Владыка. Еще и еще раз благодарю тебя, Володя, за добрую и родственную память обо мне. Эту милую фотографию, Шужгору, возьму домой у Тосеньки, и мой Александр переснимет, и всем разошлю. Фотоаппарат я давно купил Шуре за 1300 р., он фотографирует. Не бываете ли в Череповце? Заходите к нам. Именем Господним заочно благословляю всю вашу дорогую семью. Во ИМЯ Отца и Сына и Святаго Духа. Искренне-сердечно уважающий Вас, и Молитвенник за вас, иерей Василий Ив. Посылаю на память свою устарелую фотографию».

На этой пожелтевшей фотографии он, видимо, до лагерей, потому что черны и густы его длинные волосы, спускающиеся на плечи, смотрит строго, как и положено священнику, куда-то вперед, где сияет невидимая им, но уже приоткрытая дверь в Царствие Небесное.

Подпись на обороте гласит: «На молитвенную добрую и долгую память духовному сыну и другу Владимиру Ив.Смирнову от иерея Василия Ив. П. 2/XII.1959».

Снизу подписано другой рукой: «Умер в 1961 г.». То есть – после письма через два года.

До третьего и четвертого рода

Первым родом будет Казакова, а также народ, понесший на переплавку металл с кровель храма, в котором молился. И молодые комсомольцы, что выбили штыками и ломами глаза на ликах фресок Кирило-Белозерского монастыря. И еще те, кто топил в Белом озере баржу со старенькими Горицкими монахинями.

И моя собственная бабушка, кравшая у своей мамы иконы, чтобы с другими комсомольцами сжигать их в кострах.

Как произошло это с ними? Почему так быстро и легко, словно ненужную бумажку, они потеряли свою веру?

С ними ли это случилось или с поколением перед ними? Бабушка моя рассказывала, как учась в церковно-приходской школе (дело было в деревне под Рязанью) некстати зашла в учительскую и увидела директора-священника с учительницей на коленях. Парочка вскочила. «Что ты видела, Денисова?» Бабушка испугалась: «Ничего!» Ее семья жила бедно, прадед мой, деревенский портной, выпивал – и вот директор стал посылать им продукты: то муку, то масло. И только потом, через годы, я поняла, на какую почву легло ее безумное комсомольство 20-х

(«я – комсомолка двадцатых годов», любила заявлять бабушка), бравурные и нескладные песни («долой-долой монахов, раввинов и попов») в 70-х долетели и до моего детства.

Впрочем, об этом можно много прочесть у митрополита Вениамина (Федченкова) и не только у него – к моменту революции настоящая, не внешняя вера была утрачена очень многими: и в народе, и в духовенстве.

Бабушка моя, милостью Божией, покаялась, успела. Вернее, не то, что сама успела, а Господь долготерпел, не забирал ее неготовой. Уже старушкой она похоронила двоих сыновей. Пока долго болел старший, съежилась, смирилась, вспомнила молитвы, и сидя на кроватке, маленькая, как девочка, читала наизусть за детей и по молитвослову тоже молилась. Умерла в 94 года, не раз исповедовавшись и причастившись – есть, должно быть, среди наших предков молитвенник за весь род.

Бабушка была первым поколением. Вторым стало поколение моих родителей.

Это было поколение строителей коммунизма – безбожного советского рая. Весь мир, казалось, лежал перед ними – только трудись, созидай. В этом раю желающих ждали почет и уважение на производстве, хорошая, крепкая семья, достаток в доме.

Вместо храма – дом культуры. Духовная жизнь – посетить концерт или сходить в театр. Отмечали 7 ноября. Алый Первомай был назначен как бы вместо Пасхи, а Новый год, праздник сугубо семейный, должен был занять место празднования Рождества Христова.

Вообще многие православные традиции особым образом трансформировались при коммунизме. На демонстрации ходили с портретами вождей, колыхавшимися на высоких шестах, как некогда над крестными ходами воздетые хоругви. Даже перекличка трибуны, перед которой шли праздничные колонны, с демонстрантами («Ура, товарищи!» – «Ура!») формой напоминала пасхальное приветствие.

Детей тоже часто называли непросто так – как раньше по святцам, теперь – по именам вождей, в честь исторических событий или просто по моде и оригинальности. У меня во дворе жила Сталина, а ближайшая моя родственница была названа мамой-коммунисткой Нинелью, но не на французский манер, как может показаться, а потому, что если прочесть наоборот, получится «Ленин».

К этому же поколению принадлежит и много размышлявший в своих фильмах как раз о связи поколений и искавший её, замечательный кинорежиссер Марлен Хуциев, названный родителями в честь вождей мирового пролетариата – его имя расшифровывается как «Маркс-Ленин».

Рождались дети – обычно в семьях того времени их было по двое, мальчик и девочка, от остальных в большинстве случаев избавлялись известным способом – делали аборты.

Это не исключало любви к детям – им действительно отдавали все, что оставалось от работы. Водили в парки, дарили велосипеды, записывали в кружки. Следили, чтобы хорошо кушали, прилежно учились – пусть идут в институт, развивают идею советского рая! И будут счастливы, пусть обязательно будут счастливы!

«Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, за вину отцов наказывающий детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои», – сказал Господь Моисею на Синае.

Эти дети — мы. Мы и были третьим родом от тех, кто повернул от Синая вспять.

Не зная веры отцов, мы стали придумывать все сами. Но свято место пусто не бывает, вместо Бога, дети стали кланяться новым идолам.

Кадр за кадром

Все это, конечно, лишь схема – жизнь, как водится, глубже и богаче. Я смотрю на черно-белые фото, сделанные в разные годы на Спас-Горе, теперь вновь называемой Шужгорой, Владимиров Смирновым – он жил в близлежащей деревне и снимал людей, приходивших на гору, в течении нескольких десятилетий.

Пока был храм и вера — жили и развивались белозерские деревни. Порушили храм, и задышали на ладан обреченные деревни. Не стало их в начале семидесятых, когда район признали «бесперспективным» – была такая формулировка в советские времена. Но даже и разъехавшись в разные города и веси, бывшие деревенские на Преображение собирались и ходили на гору к поруганному храму молиться, правда с каждым новым десятилетием все меньшим числом и всё больше с водкой. Но всё же благочестие сохранялось в части народа, не сразу ушло.

Одна из женщин вспоминала: «Церковь хоть и разрушили, а каждый год 19 августа ходили люди к Спасу. Одна старушка молитвы пела, ее звали Марией. Свечи горели, мы молились, крестным ходом ходили вокруг церкви. Однажды уже собираться домой, пришел парень и говорит: “Я ружье купил. Хочу сейчас испробовать!” А старушки ему: “Иди, милый человек, в лес, там и спробуешь”. А он свое: “Нет, тут хочу”. И выстрелил. Ствол разорвало, пуля вылетела в середине ствола, вбок. Хорошо, что никого не убило. “Ну что, говорили мы тебе – в Божий храм не стреляй?”»

Сохранилось и свидетельство того, как в 1955 году правление колхоза «принимало меры», чтобы «ни один колхозник не ушел на праздник, не был отвлечен от колхозных дел»: на Преображения повысили оплату труда на сенокосе.

А «все же многие несознательные колхозники ушли», – с горечью отмечала районная газета, больше всего сетуя на заведующего Назаровской избой-читальней, тоже ушедшего на святую гору: «Ведь кому бы, как ни ему, организуя антирелигиозную пропаганду, разъяснять колхозникам тот вред, который наносят эти праздники экономике колхоза, всему общественному хозяйству».

Вот они, на фото, «несознательные колхозники» пятидесятых, – неумело улыбается старуха в клетчатом платке и праздничном фартуке поверх цветастой юбки. Те, что постарше – все в платках, одна вон в черном, может и монахиня.

Мальчишки в кепках, крепкие как грибки. Целое семейство – мужик в сапогах (наверняка воевал), детки, две женщины в белых платочках.

В то время храм еще венчал последний оставшийся купол – над приделом преподобного Даниила Столпника и мощами преподобного Даниила Шужгорского, его можно было увидеть издалека, с крылечек советских совхозов и колхозов. Во время хрущевских гонений сбросили и его, и храм стал разрушаться ещё быстрее: под дождями кирпичи набирали воду, потом схватывались морозом, и их разрывало.

С фотографии шестидесятых народ смотрит почти такой же, что и за десятилетие до этого, - еще набирается с окрестных деревень человек тридцать, приходящих сюда помолиться.

В 70-е на лесной дороге, ведущей к храму, фотографу, обернувшись, позируют двое. Главное на этой фотографии – не люди, а именно дорога: видно, что она уже начинает зарастать, – лес берет свое, протягивает мохнатые лапы.

В 80-х, когда не стало деревень, его наступление уже некому было не то, что остановить, но и задержать – он шел вверх и вширь. Народ ходил уже больше на кладбище «проведать» своих покойных близких. Сюда же ходили на всякий промысел – собирали, например, кору. Одни из таких собирателей стали свидетелями явного и пугающего чуда, но это их все равно не разбудило, оставшись просто ярким воспоминанием.

Приведем рассказ об этом событии полностью.

«Места эти необычные. Необычные тем, что можно заблудиться на квадратном метре. Мы с женой испытали это на себе, – вспоминал Анатолий из Белозерска, – На одном метре мы заблудились. Но мы здесь дома, мы здесь свои, жена только скажет: "Бабушки, дедушки, помогите", смотрим – стоим на дороге.

Как-то летом у Шужгоры заготовляли ивовое корье. Отдыхали после работы и увидели над святым источником, что в подножии горы, монаха. Он был очень высоким, выше леса. Видели его очень отчетливо. Я поглядел на жену, вижу по направлению взгляда, что она тоже смотрит в ту сторону. Я гляжу на монаха, гляжу на нее, ничего не говорю, и она ничего не говорит. Это продолжалось минут двадцать. Над святым источником стоял монах.

Конечно, увиденное потрясло. И что интересно, ни она, ни я ничего друг другу не сказали. Когда вечером пришли к месту нашего жилища, - в те годы на Пугорке стояла сараюшка, в которой жили сенокосники, - я говорю: "Поехали домой, устроим себе выходные". Она возражать не стала. Мы уехали домой, неделю здесь не были, потому что это было что-то необычное, не вмещалось в сознание.

Потом вернулись, завершили свои дела. Надрали мы тогда 800 пучков ивового корья, почти на пять тысяч полновесных советских рублей».

Фото конца 80-х – как выстрел, некогда прозвучавший под сводами этого храма: парочка, обнявшись, позирует, стоя на том месте где когда-то был последний купол храма. На переднем плане – обрушившаяся стена и заросли бурьяна. Настало время колокольчиков.

Часть II

«Если нам не отлили колокол, значит, здесь – время колокольчиков»[8]

Когда музыка стихнет

«Да не сестра, да не жена, да верная отдушина», – мне было 22 года, и этот неясный статус меня вполне устраивал. Мы провели вместе почти два года, – до того февральского дня, когда он, непонятно как выбравшись из маленького (в треть, наверное, обычного) кухонного окна ленинградской квартиры на проспекте Кузнецова, упал на асфальт с восьмого этажа. Когда меня привезли в Питер, на сером льду оставались лежать только красные гвоздики – крови почему-то не было, наверное, смыли.

Звали его Александр Башлачев, друзья называли СашБаш, он был рок-музыкант и, как признавали многие, гениальный поэт (без приставки «рок», просто).

Также – и мне тогда это было очевидно – он мог изменить русскую рок-музыку, а значит и

сознание очень и очень многих людей (он был во-многом одаренней своих товарищей по цеху), если бы, вдруг не утратив дара столь же резко, как и получил, не покончил с собой.

Так что произошедшее 17 февраля 1988 года было завершением некоего процесса.

В 1986 году у него вдруг перестали писаться песни, – как в 1984-м пришли, так теперь и ушли, как будто где-то перекрыли кран. Последнюю из них, – «Вишню», легко, между делом, написанную в Череповце девочке на день рождения. А потом – все. Он это не сразу понял.

Еще казалось, что все поправимо, что вот сейчас он найдет какие-то новые формы, и то, что произошло, еще не финал, а некое необходимое изменение, и вот теперь он точно отыщет какой-то свой - особенный, правильный - путь.

Он приехал в 1984 году в Питер из Череповца, - Ленинград был тогда столицей русского рок-н-ролла - его везде приглашали, слушали, он был яркий, не встраивавшийся в обычную жизнь - даже питерское тусовочно-коммунальное отсутствие быта на его фоне выглядело снобски и буржуазно. Как нечто чужеродное, он все равно не приживался в этом мире. Хотя его и любили, он все равно был один. Что он искал? Несомненно, Истину, - и как многие из выросших в безбожное время в стране, где о Боге если и вспоминали, то в последнюю очередь, искал ее где угодно, даже внутри себя. Искал и в Евангелии - возил его с собой в рюкзаке, и следы того, что он читал Писание, можно найти почти во всех его стихах. Но сделать последний шаг, воспринять прочитанное как единственную Правду, не мог - все ему казалось, что он - умнее, и лучше знает, как устроен мир.

Еще искал понимания. Его не было - говорю как свидетель. Он был очень одиноким человеком.

Я помню, как Саша говорил со мной часами, пытаясь найти, нащупать что-то, объяснить, как все устроено, добавляя в конце свое неизменное “хотя на самом деле все наоборот”, и все переспрашивал “понимаешь?” Что я там понимала. У него правда был блестящий, какой-то парадоксальный ум.

Еще он мог подолгу молчать - и это было легко и хорошо, пока молчание не стало пустым и страшным.

Сан-Диего. Внутренний разлад

“Окрест Сан-Диего не счесть дремучих оврагов и лощин, заросших кустами, деревьями, буйными травами. Был такой овраг и недалеко от скромного дома Роузов. Молодой человек любил уединяться там, гулял часами, а то и ночи напролет, зачарованно созерцая бесчисленные звезды над макушками деревьев, и, скорее всего, не только тягой к размышлениям объяснялись эти прогулки, но неким внутренним разладом”[9].

Внутренний разлад - такой оборот употребляет в своей книге про подвижника второй половины двадцатого века иеромонаха Серафима (Роуза) в книге “Не от мира сего” его биограф отец Дамаскин (Кристенсен).

Не от мира сего был и Джим Моррисон, творчество которого для Александра Башлачева стало, если можно так сказать, откровением. В свою очередь для Джима подобное “откровение” началось еще в детстве.

Когда он был маленьким мальчиком, он увидел аварию: машина, в которой он ехал вместе с родителями, поравнялась с перевернувшимся грузовиком, полным мертвых и раненых индейцев. Он не мог отвести от них глаз. “Я впервые увидел смерть. Грузовик с индейцами или

врезался в другую машину, или еще что-то, — но по всей дороге валялись тела индейцев, окровавленных и умирающих. Мы остановились… Не помню точно, кажется, я видел их раньше в кино, а теперь все эти индейцы лежали на дороге, истекая кровью… Я не видел ничего — только забавную красную краску и лежащих вокруг людей, но я знал, что-то случилось… и мне кажется, души тех мертвых индейцев — одного или двух, — которые, обезумевши, метались тогда вокруг, влились в мою душу. А я был чем-то вроде губки, жадно их впитавшей”[10]. Индейцы, как известно, практикуют шаманизм и далеко заходят в своих демонических опытах. Может быть, действительно, именно там и произошло это первое повреждение, сделавшее Моррисона таким, каким он стал - королем ящериц, великим путаником и безумцем. Продолжилось это “откровение”, а правильнее бы сказать, утопило Джима в адском омуте, куда уже не проникал живительный Свет, когда он познакомился с книгой Олдаса Хаксли “Двери восприятия” и впитал в себя его бредовые идеи и опыты. Смазочным же материалом для этой псевдодуховной турбины (культовой группы Door’s названной так именно в честь книге Хаксли), задавшей ускорение целому поколению, стали наркотики.

Разница в возрасте между отцом Серафимом (Роузом) и Джимом Моррисоном составляла всего 9 лет - отец Серафим родился в 1934, а Джим - в 1943. Больше того, они из одного города: будущий иеромонах, обращавший ко Христу людей, в том числе и искалеченных современностью, хиппи, наркоманов и рок-музыкантов, родился и вырос в Сан-Диего, где прошла часть детства и будущей звезды рок-н-ролла, перевернувшего сознание многих сотен тысяч людей, несчастного человека, умершего при невыясненных обстоятельствах - то ли от героиновой передозировки, то ли от сердечного приступа, то ли от того и другого. Возможно, они даже встречались на улицах города.

На старом фото Сан-Диего качается под ветром раскидистая пальма, темнеет вода в бухте, и чувствуется присутствие военных кораблей. Здесь, на крупнейшей в США базе ВМС служил морской офицер Джордж Дуглас Моррисон, выслужившись со временем до контр-адмирала. Родители отца Серафима - а тогда Юджина - были совсем из простых, но несмотря на то, что Моррисоны и Роузы на социальной лестнице стояли очень далеко друг от друга, они запросто могли молиться вместе в одной из протестантских церквей города. Те и другие были протестантами. Сестра Юджина, Эйлин Роуз вспоминала: «В детстве мама водила нас то в лютеранские, то в баптистские, то в методистские, то в пресвитерианские церкви. И в каждой непременно пела в хоре».

Внутренний разлад - то, что объединяет молодого Юджина Роуза, Джима Моррисона и Александра Башлачева - по-русски можно было бы еще сказать расстройством. Как лебедь, рак и щука в известной басне, душа тело и дух рвались в разные стороны, не понимая, откуда пришла беда, и как с ней справиться. В юности, это щемящая тоска разлада - или расстройства - заполняет собой все перспективы и все пространства, и внутренние и внешние.

Взрослея

«Не Бога я не принимаю, Алеша, я только билет ему почтительнейше возвращаю»[12]

Взрослея, «Юджин уже полностью отрешился от протестантства, в котором вырос. Несмотря на любовь к родителям, он тяготился будничными, прозаическими культурными ценностями «среднего сословия». Их представления о Боге казались ему убогими и невежественно-провинциальными, недостойными человека, стремящегося к высотам познания, а религия виделась ему неким безоговорочным признанием прописных истин. Люди словно боялись или не хотели заглянуть глубже, познать природу вещей. Протестантство для Евгения – этакое застывшее равновесие: на одной чаше – мирская, «счастливая» жизнь, на другой (как бы в оправдание ежедневной суеты и для пущего «долготерпения») – жизнь религиозная. Но душе

его претила такая застылость, никогда он не смог бы удовольствоваться лишь «радостями домашнего очага». Нет, это обывательское счастье для него – что прокрустово ложе. Равно не удовольствоваться ему и «прописными истинами». Надо искать выход, но где, в чём? Иного пути, нежели бунтовать, он не видел».

Саша, в то время, когда родители шествовали 1 мая под звуки оркестра по улицам Череповца, в далеком Свердловске, где он учился в университете, вместо флага вывесил в окно красные семейные трусы.

Взрослеющего Джима Моррисона приводил в бешенство образ жизни его родителей. Самоутверждался он за счет младшего брата, которого часто обижал. Однажды Джим заставил его съесть собственные испражнения.

Иеромонах Дамаскин в своей книге пишет - «В семье, с любимыми родителями Юджин чувствовал себя изгоем, неприкаянным в пространстве и во времени. Современная цивилизация и особенно плоды так называемого технического прогресса были ненавистны ему, - вскоре всё же, в колледже, у него появился понимающий его друг. - Он вообще часто и подолгу молчал. Они с Алисон понимали друг друга настолько, что слова были излишни. «Часами мы смотрели на звезды, – вспоминает она. – Юджин показывал разные созвездия, он знал все по памяти. Очень любил море, и часами мы молча сидели на берегу, еще ему нравилось гулять по ночам. Он поверял мне свою душу: везде он чужой, никто его не понимает. Он ощущал безцельность своей жизни. Его привлекали всякие букашки, птицы». Однажды, нимало не смущаясь подруги, Юджин лег на тротуар – понаблюдать за муравьями».

Все это написано словно про Сашу. Да и не только про него - многие в юности проходили этим путем поиска себя, смысла, Бога, но вот только отец Серафим дошел, - а Саша… поторопился.

Пройдут года, и о. Серафим (Роуз) ответит на вопрос откуда этот бунт, и для себя и для всех в своем труде “Человек против Бога”. Доберется до самой сути. До нигилизма и его последовательного разрушительного действия на человека.

Мы все должны умереть

Саша очень любил Моррисона. Не просто слушал, а вслушивался в него. Пел иногда - дома, самому себе - “People are strange”[13] , например, или “Луну над Алабамой”. Я, студентка театроведческого факультета, понимающе и радостно кивала - этот задорный зонг принадлежал перу Брехта.“Я скажу тебе - мы должны умереть. Мы должны умереть” - весело качал ее мотивчик, и мы соглашались - круто! Куда деваться, конечно, мы все должны умереть - мы все, кто родились, да, когда-нибудь, и мы должны быть готовы к смерти! I tell you - we must die!

Помню наше какое-то странно-безцельное, без всякого смысла путешествие автостопом по Владимирской области – Кидекша, Гороховец… Почему во Владимирскую область? Саша придумал.

Поехали втроем: он, я, – полу-хиппи в пластиковых сандалиях на грязных ногах и в вышитой крестиком рубашке, – и его друг детства Максим (его тоже уже нет в живых – а тогда был веселый, смеялся часто).

Помню затянутые молочным туманом поля и стога, в которых мы ночевали. Грузовики. Храм Покрова на Нерли в послеполуденном солнце, такой красивый, что невозможно было перестать смотреть. Вечерело, было тепло, в водоеме с зеленой водой плескались купальщики, а церковь

возвышалась над ними и словно терпела, закрыв глаза. Но это сейчас я могу писать такие фразы, а тогда просто был ощутим контраст. В Кидекше лежали на траве, валялись под стенами маленькой древней белокаменной церкви. Саша вдруг поднял ногу таким образом, что кед оказался на фоне купола, словно наступал на него, – такой получался оптический эффект. Качал ногой, посмеивался, любовался… Потом – застыдился своей выходки.

Уже в августе они с его “другом” (возьму все-таки в кавычки) ленинградским рок-музыкантом Славой Задерием уехали в Алма-Ату – играли концерты, курили много, – как раз был урожай конопли, – долго их не было. Появились уже в октябре. Не хочу писать подробно, – мы были чудовищами, сами того не сознавая, и очень страдали, не понимая, что причина наших страданий – в нас самих.

This is the end, beautiful friend
This is the end, my only friend, the end

пел из кассетного магнитофона Джим Моррисон, и красивая тоска закрывала белый свет и казалось наполняла его смыслом. Почему-то мне думалось, что я понимаю песни Моррисона без русских слов, а теперь я вчитываюсь в переводы, и смысл ускользает, и я почему-то этому рада.

Так дьявол все переворачивал в наших головах вверх ногами - и мы вслед за Моррисоном и многими другими вели демоническую духовную жизнь.

Ну, spirit. Дух

В духовной жизни случаются откровения - то, что открывает дух. Он и открывал - в том числе и Моррисону. Люди ищут ответы на свои вопросы - и получают их. Разве не это - причина того, «Оседлавшие бурю»/«Riders on the storm» за несколько лет в нашем XXI веке набрали на ютьюбе почти 88 млн просмотров? Doors - это вовсе не музыка, ну или больше чем просто музыка. Это - “откровение”. Приоткрыть “Двери восприятия” - вот что ему было нужно. Сделать это помогали наркотики. Бедный Джим прямо купался в них - ЛСД, и прочее, в чем я не очень разбираюсь, были у него на завтрак обед и ужин.

Когда Саша с Задерием вернулись из Алма-Аты, то конечно, привезли гашиш – что еще им было везти из Казахстана? Не фрукты же. Не то, чтобы они были завзятыми наркоманами – то есть спокойной могли обходиться и без этого, Саша, по крайней мере, точно, – но стоял, стоял в воздухе этот сладковатый, вязкий и гадкий запах. Наркотики, даже легкие - меняют сознание, - как меняет сознание любой грех, потому что открывает двери демонам. И они не медлят войти.

Каждый раз, когда “Doors” приезжала играть в Сан-Диего, Моррисон не выходил на сцену, пока доподлинно не убеждался, что его родителей нету в зале - конечно, это была поза, они в жизни бы не пришли - смотреть на такое. Родители и сын не общались много лет, и даже о смерти Джима отец узнал от репортера - никто из окружения Джима не счел нужным сообщить, что его больше нет.

В 1969 году Моррисон давал интервью журналу “Роллинг Стоун”:

“Я хочу затронуть еще один предмет, но трудно решиться … его так раздули и он оброс всевозможными спекуляциями, кстати, хотелось бы услышать твое отношение и к этому, равно как и истину … Эдипова часть песни "Конец". Так что же эта песня значит для тебя?” - спрашивает журналист.

“Давайте подумаем … Эдип - древнегреческий миф. Софокл писал о нем. Не знаю кто до него. Миф о мужчине, который неумышленно убил своего отца и женился на своей матери. Да, я бы сказал сходство имелось. Определенно. Но по правде говоря всякий раз когда я слышу эту песню, для меня она приобретает какой-то новый смысл. Я и в самом деле не знаю что я пытался сказать. Родилась она как простая прощальная песня”.

Что значит прощание? Прощание с чем? Он как-то замялся, отвечая на этот вопрос, но мне думается, словно бы с какой-то прекрасной жизнью. Всё тот же spirit приоткрывал ему двери преисподней. ''The End'' словно откровение ада. Джим Моррисон несомненно искал смерть. Казалась ли и она откровением?

Нам так нравилась смерть

Осенью 1986 года Саша поселился под Питером в поселке Комарово, на даче у некой Иринушки, как ее называл весь тусовочный Ленинград.

Эта Иринушка была вроде ведьмы. Жила она на Васильевском острове, в доме, увешанном памятными досками «здесь жил такой-то» (дедушка ее был известный ученый, академик) и населенном популяцией одичавших лабораторных крыс, в разное время посбегавших от исследователей.

Иринушка (как на «митковьский лад» все ее и звали) была своеобразно красивой – похожей на голландские портреты, – с тонкой кожей, начинавшей пылать румянцем, когда она курила, и пальцами художницы, которыми она набивала перемешанным с гашишом табаком папиросы «Беломор», как будто что-то лепила.

А еще у Иринушки была дедушкина дача в поселке Комарово на Финском заливе.

Помню, как однажды летней ночью, наевшись самодельного мескалина (отношение к этому наркотику было мистическое, я ничего этого, надо сказать, не читала – но про Дона Хуана и Мескалито, конечно, слышала), мы вышли на залив, – Саша почему-то был с гитарой – и ловили ею северный ветер, и она гудела на манер эоловой арфы.

Дача эта была (да и есть, наверное) аристократичным двухэтажным домом. Помню большую библиотеку с сосновыми ветвями в просторном окне.

Также на участке имелась «зимовка» – домик для сторожа из двух, кажется, комнаток с печкой и туалетом, – голые стены, стол и кровати. Протопить ее в холодное время года было куда легче, чем дом.

Туда Иринушка и пустила всегда бесприютного Сашу. Бывала там и сама. Помню, как я приехала в Комарово из своего ГИТИСа с его аудиториями, залитыми светом, и разговорами о театральном искусстве, – одновременно в тишину и в темноту. Ухал пирогами снег с огромных елей. Приехала дневным поездом, с похорон – в Москве умерла знакомая, девушка 19 лет, лихо распевавшая джазовые вокализы, полная жизни, веселая Юля Капилевич.

Умерла так: шла с женихом по Ленинскому проспекту, остановилась завязать кроссовок, разогнулась, сделала шаг, и тут ей на голову свалился кирпич – как в анекдоте или в известном романе. Как оказалось, на крыше играли дети.

В гробу она лежала в свадебном платье. Под накрашенными ресницами (сама она никогда так ужасно не красилась) виднелись глаза, а на ногтях восковых желтых рук был лак – она была похожа не на себя, а на куклу в коробке, наряженную неизвестно кому на свадьбу. Светские

обычаи бессмысленно и уродливо копировали церковные, утратив самый дух – ведь если отходила ко Господу действительно девушка, девственница, и ее погребали в подвенечном уборе, это имело ясный и понятный смысл: невеста Христова. А тут что?

Конечно, тогда я ничего этого не понимала – мне просто было дурно смотреть на нее, а вместе с тем и хотелось.

Все в ее смерти поразило меня – а больше всего то, что Юля, казавшаяся мне простоватой, *теперь все знает.* Она уже находится там, куда мы пытались проникнуть, пробиться своим умом, чтобы понять, как все устроено, – разгадать тайну мироздания. Ведь мы именно этим

и занимались – пытались постичь мир.

«Сейчас я тебе расскажу, как все устроено», – Саша говорил мне так дважды и начинал развивать какую-то свою теорию мироустойства, довольно путаную, один раз при знакомстве, а другой раз в Гороховце, мы сидели на горке и смотрели, как садится за горизонт красное солнце.

А теперь Юля лежала в гробу со своими накрашенными ресницами и все *знала*. То есть было понятно, – тут смерть открывала свою тайну, – что никакой Юли в гробу нет, она как будто сняла с себя скафандр и куда-то улетела. Смерть завораживала - я не могла отвести от нее глаз.

Недавно я прочитала, как Памела - последняя подружка Моррисона, безумная наркоманка (а его тело пару дней пролежало в спальне их квартиры без всякой заморозки, в июле, в жару), говорила, что готова оставить его так навсегда, настолько он красив, и быстро переменила свои взгляды, когда от него стало смердить. Почему нам так нравилась смерть?

Весь поезд до Питера я только и думала, как буду рассказывать Саше про Юлину смерть, и едва добравшись до Комаров, прямо среди сугробов принялась излагать.

Он, должно быть, сразу уловил, что я *интересничаю,* и как часто бывало, огорошил своей реакцией: «*Нюсечка, не переживай так, это ведь не тебе кирпич на голову свалился*!» Написала, и вижу, что не читается, как он сказал на самом деле – но сказал так, что меня это сразу отрезвило.

Колесо сансары

Жили они в Комарово особым уставом: днем спали, просыпались, когда было уже темно, и ложились, когда еще не рассветало, от чего через несколько дней как-то менялось восприятие реальности. Конечно, курили, и много – Иринушка была травяной наркоманкой, и как многие из них, очень любила, когда курили другие, не жалея, при всей бедности, ради этого денег. Жили аскетами – горошек ели из банок и капусту, тушеную на воде.

Припоминаю один вечерок: Саша играл на специально расстроенной гитаре – она как-то медитативно гудела. Иринушка тоже играла – на пиле – держа ее, как держат виолончель, между ног.

Помню шаль на плечах и широкую длинную юбку, и горящую печь.

Еще был в гостях какой-то парень, побывавший на Тибете – так он, по крайней мере, говорил. В буддистском монастыре он украл колокольчики (меня это шокировало) и теперь достал их и «подыгрывал» пиле и гитаре. Эти колокольчики представляли собой небольшие плоские

медные тарелочки, соединенные цепочкой, и звонили, ударяясь друг о друга. Их звук необычно долго висел в воздухе, медленно вибрируя, истончался, но не гас, уводил куда-то, в какую-то светящуюся темноту, и казалось, по этому звуку можно выйти из тела, самой превратиться в звук, раствориться в нем.

Все вместе напоминало жуткие сказки братьев Гримм и Андерсена.

Подсохший хлеб надевали на голые ветки кустов – чтобы птицы ели.

Саша в ту осень как бы немного блажил – ходил в сизом ватнике, густо пропахшем печкой, в ватных же штанах и в валенках (рано стало холодно). Еще бывал веселым, сверкал золотой фиксой. Рассказывал, как долго думал, что же подарить Борису Борисовичу Гребенщикову, которого очень любил, на день рождения, и в итоге привез ему из Комарова полено. Тот, уже ездивший в СВ – то есть перебравшийся в высший класс – смутился, но скорее за Сашу и думаю, что не понял.

А скоро Саша уехал в Ленинград.

Прииди и виждь

Жизнь у нас была такая, что скитались по квартирам, сколько кто из знакомых потерпит.

Не снимали, потому, что тогда это было трудно - сдавали только через знакомых.

Терпел мало кто больше 10 дней. Потом, когда уже Саши не стало, я узнала, что друг его, а теперь вот уже тридцать лет и мой, Кирилл Кувырдин, все ждал, когда достроится дом с маленькой кооперативной его квартиркой, чтобы пустить туда жить всегда безприютного Сашу, но дом этот оказался готов к заселению совсем чуть-чуть позже Сашиной смерти - опоздал, может быть, на месяц.

А Кирилл, лет почти через десять, как-то не сумев пристроиться к Москве девяностых, взял да и уехал по случаю на ПМЖ в США, где живет и поныне - одно время работал садовником, сейчас не знаю, кем, помню, когда мы созвонились впервые после множества лет разлуки, он сказал немного смущенно “Ну вот, Нюся, чемпионом я не стал”. Но он им все-таки стал - для меня, по крайней мере, - когда в этом году, узнав, что у меня случилась беда, поехал просить за меня в Платину, к отцу Серафиму (Роузу).

Лет, говорит, двадцать, собирался, а тут поехал - единственное, переживал, молиться не умеет, не понимал, как. Тогда я, вспомнив читанные жития, сказала: “А ты иди к нему на могилку и расскажи все, как есть, начиная с Саши, про весь этот наш рок-н-ролл”.

Я правда возликовала, узнав, что Кирилл поедет именно туда - ведь отец Серафим был, можно сказать, нашим братом. Он прошел через тот же ад, далеко уйдя в сторону от тех ценностей, которые исповедовали родители - умеренная религиозность (в нашем случае советской выплавки нравственность), хорошая работа, спокойная семейная жизнь - в сторону поиска Истины, каким он тогда его понимал. Перечитал кучу книг, стремившихся заменить Евангелие и заманить человека в ад и добрался до самых восточных пределов.

“Задолго до того, как слово «хиппи» вошло в наш лексикон, передовая интеллигенция Сан-Франциско, отринув идею «американской мечты» с ее упованием на идеал семьи и христианскую религию, окунулась в поиски нового, черпая многое из восточных религий. Отвергая мораль западного общества, они брали от Востока лишь то, что нравилось. Это предопределяло вседозволенность, бесчинства и оргии, неприемлемое в цивилизованном

обществе. Так дух поиска в культуре и эстетике сочетался с «духом беззакония».

В общем, Юджина Роуза тоже сильно носило, пока милостью Божией он не зашел в православный храм. Многие помнят его слова: “Я пошел в православную церковь, чтобы посмотреть на еще одну “традицию”. Однако когда я вошел туда — это была русская церковь в Сан-Франциско, — со мной случилось нечто, чего я никогда не испытывал раньше ни в буддистском, ни в каком другом восточном храме, что-то в моем сердце сказало: ты дома, поиски окончены”.

Весь этот наш рок-н-ролл

Осенью Сашу устроили работать в кочегарку (в СССР была статья за тунеядство, и надо было хотя бы числиться где-то) – ту самую ленинградскую котельную, где стараниями ее начальника Толика в середине восьмидесятых числились и на самом деле иногда работали Виктор Цой, Слава Задерий и еще какие-то питерские люди с художественной жизнью и непростой биографией.

Темой собрания, на которое мы приехали из пригородного Комарово, была рубка угля. Его привезли и свалили во дворе, и чтобы каждый кочегар не мучился в свою смену, Толик предложил решить проблему аккордно – то есть собраться всем вместе и нарубить этот уголь на месяц вперед. Собравшиеся согласились с тем, что идея неплохая, оставалось выбрать день, но вот это оказалось почти невозможным: кто-нибудь обязательно не мог – у одного была репетиция, у другого – еще что-то. Только Саше, как главному бездельнику – он действительно был ничем не связан – по-моему, было все равно.

Дискуссия длилась не менее часа, наконец, методом отсечения, как-то образовался удобный всем вторник (или четверг, я теперь точно не помню). Цой во время всего этого бурного обсуждения молчал и сосредоточенно ел мандарины, которые принесли мы с Саней, доставая их по одному из бумажного пакета. «Ну что, вторник?» – с облегчением наконец провозгласил Толик, хлопнув себя по коленкам.

И тут Цой открыл рот. «А я не могу во вторник! – сказал он со своей классической усмешкой. – У меня тренировка!» – и сделал руками движение, который делал обычно на концертах, нечто среднее между у-шу, которым он занимался, и танцевальным жестом. Все замолкли. Тогда Цой достал из пакета последний мандарин – он был маленький, зеленый и кривой – и грустно сказал: «Ну почему мне всегда такие достаются?»

Это сцена может показаться даже смешной, но самом деле ничего веселого в ней нету. Когда человек хочет быть рок-звездой, он не может не быть эгоистом. Его творчество и он сам, как сила, производящая (как ему ошибочно кажется) это творчество – вот что представляется ему самым главным, почти святыней. Потому что рок-музыка действительно является почти религией – в том смысле, что люди мнят себя чем-то вроде пророков и «глаголом жгут сердца людей». Им действительно кажется, что они транслируют некое знание – и я думаю, что в большинстве случаев так и есть, только откуда идет эта трансляция?

От Господа или с другой стороны? Но даже если поется что-то вроде «пойди в церковь и помолись, очень здорово быть православным», то не имеет ли тут место некий опасный обман? Архимандрит Рафаил (Карелин) как-то сказал, отвечая на вопрос, почему ему не нравится музыка: она зиждется на страстях и пробуждает страсти, тогда как мы жизни кладем на то, чтобы избавиться от них. Такой простой ответ и такой ясный!

Эгоизм как раз и есть одна из этих страстей.

Рок-музыканты – да, наверное, и почти все творческие люди – в большинстве своем настолько увлеченные эгоисты, что даже не замечают этого. Знаменитое «рок-н-ролльное» братство – не более, чем миф.

Вот очень простой пример – когда Саша покончил собой, я носила ребенка. На похоронах все плакали, говорили какие-то речи, «делали лица», когда встречались со мной взглядом, но ни один человек не позвонил мне после с предложением помощи и поддержки, кроме моих дорогих друзей - самых обычных людей, самоотверженных и верных.

И к друг другу они всегда относились и с ревностью, и одновременно с пренебрежением – и к Саше, пока он был жив, тоже. А он, кстати, нет – смотрел на друзей-рок-звезд с уважением и даже можно сказать, смирением человека, последним севшего в этот поезд.

Не помню, чем кончилось дело после заявления Цоя, но скоро все разошлись, возвращаться в Комарово было уже поздно, и мы остались ночевать в кочегарке.

Там была комната – не знаю, какого предназначения, – абсолютно темная, без окон. Когда глаза привыкали, можно было рассмотреть трубы в обмотке и большой широкий стол, на котором лежат матрасы. На него мы и легли. Было душно. Ритмичными оборотами гудел котел.

Я быстро уснула, но скоро проснулась оттого, что Саша не спал. Он лежал на спине и смотрел в никуда с тем непереносимым выражением, которое у него уже стало к тому времени появляться.

Точнее сказать, это было отсутствие всякого выражения – будто с лица, как грим, стерли тряпкой все эмоции. Оно было немым. Саша как будто смотрел в пустоту и видел ее.

Ритмично, оборотами, гудел котел, что, будучи помножено на кромешную тьму, в качестве произведения давало ощущение дурной бесконечности. Я спросила: «Почему ты не спишь?» Он без всякого выражения ответил: «Я хочу умереть».

Я ответила единственное, что могла: «Давай вместе».

Мне вовсе не хотелось умирать – я просто пыталась быть рядом. А еще это была такая женская хитрость: просто чтобы знать, когда он соберется, и успеть *что-то сделать*. Мне казалось, что-то можно будет сделать в последний момент. Смешно. Но он согласился.

Когда музыка смолкнет, выключи свет…

Так что летом 1987 СашБаш не просто так поехал в деревню, не отдыхать. Может быть, думал, что тут, при корнях, он заново приживется.

Я мало что понимала из происходящего с ним, но мне было так хорошо в деревне, что показалось – а вдруг отпустит? Но *вдруг* не отпускает.

Иногда по ночам за лесами, окружавшими деревню, было видно какое-то свечение, – как зарево, что ли, или вот как светятся города. Светиться в этом направлении было нечему, и как-то я спросила нашу соседку Иду, – не дачницу, а деревенскую – что это такое. Сверкнув металлическим зубом, Ида рассмеялась: «Не знаю, Настенька! Мы ведь по ночам – спим!»

Намек был на то, что не на гитаре развлекаемся. Саша часто играл по ночам, и это было слышно по всей маленькой деревне. Песни у него уже год, как не писались. Два года продлился «золотой», он же единственный период, – и вот таинственный источник иссяк,

перекрылся, высох, и Саша играл по ночам на своей гитаре, – она звенела, бухала, как бубен. Подбирал, искал что-то, потерянное, как оказалось, навсегда. Люди, любящие выражаться возвышенно, называют это творческим кризисом. Но что такое кризис, объясните мне? Что это на самом деле такое?

Я помню, как удивилась, впервые увидев его черновики. Они выглядели совсем не так, какими мне представлялись черновики поэтов: знаете, вот это – бисерный почерк, зачеркнутые строчки… Смятые бумажки, брошенные в угол…

Ничего подобного. Как будто он отгадывал некий кроссворд и заполнял квадраты: в строке могло стоять, допустим, первое слово и два последних. В следующей – еще какие-то два…

Стихотворение проступало под его рукой, уже существуя где-то – так это выглядело. Помню и один разговор – как раз незадолго до отъезда в эту деревню, в мае, в Москве. На одной из квартир, где мы нашли очередное недолгое пристанище, он, полулежа, играл на гитаре и вдруг заговорил о том, что сам понимает свои песни не до конца, не сразу, через время, а вот «Егоркину былину» так и не понял до сих пор.

Это самая страшная из его песен, полная блуждающих смыслов – и я думаю, самая близкая к тому, к чему он в итоге стремился.

А стремился он к тому же, что и Джим Моррисон – вот именно к этим блуждающим смыслам, формулам (мы говорили тогда – «телеги»). Это был шаманизм – или, говоря цитатой из его песни, «рок-н-ролл – славное язычество».

Конечно, мы искали истину, – но только не с той стороны. И находили бесов.

Сейчас я полезла в интернет читать про Моррисона и нашла книгу о нем (в 80-х она не была переведена). Читать ее страшно – Моррисон зашел на обратную сторону много дальше, чем Саша, но нельзя не изумиться их сходству и общности «подхода».

«Джим использовал … песню, как свободный, неограниченный временем музыкальный холст для своих набросков, фрагментов, небольших куплетов и прочих вещей, которые он хотел сказать. Это была совершенно флюидная песня, которая постоянно менялась».

Это творчество было своего рода магическим ритуалом, – наверное, как любой рок-концерт.

Моррисон говорил, что песни словно приходили *откуда-то*. Вот он рассказывает о том, как это творчество вообще началось в его жизни: «И внезапно я выбросил все свои конспекты, которые я хранил со времен колледжа, и ко мне стали приходить песни. Что-то о Луне, я не помню. Я выдумывал слова так быстро, как только мог, и чтоб они подходили к мелодии - знаешь, многие люди не представляют, что я сочиняю мелодии, много мелодий – и из них вытекают слова, к которым, конечно, я не имею отношения. Эта разновидность слов вытекает из некоей смутной идеи. В те дни, когда я слышал песню, я слышал ее в полном, целом виде, уже исполняемую на концерте. Далее, как ты знаешь, подбиралось место для публики, певца и группы. Все. Это было похоже на предсказание будущего. Это все было там. И вытекают слова, к которым, конечно, я не имею отношения», – так он сказал, и так оно и было. Как Саша мог не понимать свои песни? Он тоже далеко не ко всем своим словам имел отношение. Не верите – послушайте запись его последнего концерта, сыгранного примерно за три недели до самоубийства. Но честно сказать, лучше не надо.

«Когда музыка смолкнет, выключи свет…», – пел Моррисон в одной из своих главных песен. Когда музыка стихла, свет действительно оказался выключенным – потому что это был язык,

на котором говорил с ними дьявол.

Свечение над лесом

Тогда, в 87-м, я так и не узнала, что же светилось по ночам за лесом, зато знаю теперь. Прошлой осенью в ответ на мое безапеляционное «да нет, нет рядом с нашей деревней церквей, ну что я, не знаю, что ли» батюшка, с которым мы собирались в наши просторы, показал на гугл-карте кирпичный остов храма.

И открылась сияющая, как в детстве, секретная, настоящая, прекрасная тайна.

Оказалось, что примерно километрах в восьми от нашей деревни, за глухим, непроходимым лесом – получается, как раз там, где светилось! – спят на горе под спудом мощи святого монаха, преподобного Даниила Шужгорского, а над ними разрушается давно закрытый кирпичный храм. Как же так, почему мы не знали? А если бы знали, то что? Бросили все, побежали? А ведь преподобный звал.

И все коренные жители, оказывается, помнят эту церковь – кто заезжал туда в 90-х с лесопилке (поделился воспоминаниями пьяница-сосед), а у кого и мама с бабушкой ходили к уже закрытому храму молиться (у другого соседа).

Только вот беда – больше соседей, можно сказать, и нет. Коренных жителей в деревне Большое Заречье по последней переписи осталось 2 человека. Да и те на зиму переберутся или в город, или в райцентр.

Деревни вроде нашей давно стоят почти пустые. Когда осенью дачники окончательно разъезжаются по городам, это делается особенно заметно — мало где увидишь хоть один дом с освещенными окнами.

Церквей тоже давно нет, в нашей стороне – ни в одной деревне. Зато возвышаются как на кладбище кораблей, остовы разрушенных храмов – в самом Белозерске, и на Шужгоре, и чуть не доезжая, и на Ильиной горе рядом с Аннино…

Русский север год за годом постепенно снова все больше погружается во тьму.

Черным-черно здесь осенними вечерами, и только ветер гуляет и воет над лесом, будто смеются бесы, собираясь на шабаш.

Так было здесь и полтысячелетия назад. По дорогам Руси гуляли глумцы-игрецы, кощунники, «веселые люди» – велесово шутовское войско, шалые скоморошьи ватаги, творившие обрядовые бесчинства и разбои.

Стучали трещотки, плакали гусли, зазывали свирели, свистели ветра, продували насквозь. «Скоморошья потеха сатане в утеху», – немало сил положила Церковь, борясь с ними, но шуты взобрались даже на фрески Софийского собора в Киеве.

Здесь, на Шужгоре, велес опять заводит свои хороводы.

«Трактор»

«Бога нет! Запомните, дети!» – внушали начиная с 20-х в школе. Ребятишки приходили домой и еще видели взрослых, которые не садились за стол, не перекрестившись, а утром, повязав алый галстук, снова бежали в класс. А там пионерия, вожатые, учительница, и как страшный сон,

она нависает над тобой и кричит: «Бога нет! Ты понял?!»

И хор детей, которых уже убедили, вторит ей, а взрослые дома молчат, только бабка крестится и утирает сухим кулаком глаза, качает головой, но тоже молчит – а тут что скажешь? Внуков крестила тайно от сына, – он не хочет быть изгоем, и никто не хочет. И маленький внук тоже не хочет.

И вот, изнемогая от невозможного раздвоения, однажды он прошепчет помертвевшими губами вслед за учительницей: «Бога нет!»

Но душа-то, душа детская, живая, как пересыхала она! Как слышала где-то в небесах летевший звон!

Однажды зимой ехал на подводе с мельницы, задержался, стемнело. Дорога шла лесом, и вдруг завыли волки, и как молился он, маленький, сжав оледенелые вожжи красными ручками, как молился и звал: «Господи, ну вот если Ты все-таки есть, помоги, пусть волки нас не тронут!» И Господь услышал. Но изжилось и это – совпадение, что тут скажешь. И учительница нависала с указкой: «Запомни! Бога нету!»

И он согласился и сдался. Один друг был у него – конь Трактор. Огромный. Пахали вместе, работали, на голос его шел этот конь. Десять лет вместе были, но оставил и его – уехал учиться в индустриальный город, где дымил трубами новенький завод.

На этот завод в начале 50-х собирали молодежь со всей округи – ездили по деревням, агитировали.

И поколение это окончательно уставилось на свои кирпичи. Рай, которого следовало вследствие трудной жизни достичь, у них тоже был – но такой, советский, и чистая совесть.

Была ли она чистой? Не скребла ли ее память о той звездной ночи, когда Господь сохранил от волков, и вынес из леса верный Трактор? Не знаем.

Может, и скребла – и чтобы заглушить этот звук, одни работали так, что не помнили себя, а другие работали и еще выпивали потихоньку – но жизнь еще держалась, шла себе ровненько.

На детях же вся эта конструкция взяла и сломалась.

«Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, за вину отцов наказывающий детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи *родов* любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои».

Нет, Господь не проливал на наши головы ярость Свою даже когда мы сами понимали, что ничего другого уже не заслуживаем.

Просто отпадение от веры наших дедов и стояние в неверии наших отцов сделало нас лишенными благодати. И одни из нас словно окаменели и стали какими-то тыквами, – в них плотская жизнь родителей принесла плотские плоды, и если прямо над ухом глас Божий загремит, они не услышат или скажут «гром».

Другие ухнули в бездны бессмысленного какого-то, автоматического разврата.

А третьи неожиданно для родни оказались не своими, будто подброшенными в гнездо – с таким презрением они стали смотреть на кирпичи, которые усердно лепили, созидая свой

тяжеловесный «рай», их бедные, слепые родители.

Эти дети не хотели смотреть вниз– они подняли головы и увидели звездное небо. Оно простиралось над ними таким, будто ничего и не было прежде…

И не имея благодати, стали придумывать все сами. Мы сделались новыми язычниками.

В тот первый мой приезд в Череповец Сашин папа отвез нас на Рыбинское водохранилище – к затопленной церкви, из последних сил тянущейся колокольней из воды. Это была одна из местных достопримечательностей.

Из глубины прошедших лет этот день всплывает как выцветшее фото: строем, как эскадра, несутся по небу облака, в прогалины выглядывает негреющее солнце, северный ветер пронизывает до костей. У кромки воды – Сашин отец и Саша, и оба всматриваются вдаль, в пустую белую колокольню.

«Если нам не отлили колокол, значит, здесь время колокольчиков».

Клуб 27

«Ведь музыка – твой особенный друг. Танцуй в огне, как предначертано. До самого конца. До самого конца», – пел Моррисон. Саша очень его любил. «Раз уж объявился в аду, так ты пляши в огне», – эхом отзовется он в своей собственной, предпоследней песне. И словно вдогонку, уже оттуда, откуда не возвращаются, отзвуком прозвучало моррисоновское: «Отмени мою подписку на Воскресение. Отошли мои документы в следственную тюрьму. У меня там есть парочка друзей».

А сегодня, когда я стирала на колонке (пишу это в нашей деревне), за водой пришла немолодая женщина и сказала о Саше, которого прекрасно помнит: «Хороший он был. Поэтому и умер, – Бог хороших к Себе раньше забирает».

Она ушла, а я подумала – почему бы и правда не оставить все как есть?

Пусть думают, что разгадка этой истории в том, что «хороших Бог к себе раньше забирает», – тридцать лет прошло, чего ворошить!

Но тянется, тянется кровавый след, и другие идут по этому следу.

Это не просто стихи и песни, которые кому-то нравятся, а кому-то – нет. В них зашифрован путь, закончившийся у окна на Кузнецов.

В 1993 году в понедельник Страстной Седмицы покончил собой еще один музыкант, – гитарист группы «Алиса» Игорь Чумычкин.

Мы приятельствовали, но деликатный Игорь никогда не говорил мне о том, как много значил для него СашБаш – щадил, видимо, мои чувства.

Игорь был наркоманом – настоящим: кололся. Незадолго перед этим «Алиса» съездила с гастролями в Израиль, и вот, побывав в Иерусалиме и испытав на себе благодатную силу Святой Земли, ее лидер, вернувшись в Москву, переступил порог церкви и принял святое крещение. За ним потянулись и музыканты из группы, к чему он очень активно их призывал.

Все это проходило трудно. Игорь, до того, как начать употреблять наркотики, выпивал, и

сильно – и все это было попыткой заглушить голос души и унять тоску, мучившую сердце в безводной пустыне безбожной жизни.

Когда человек пытается перейти на светлую сторону жизни, бесы тянут за канаты страстей и часто ввергают несчастного в пропасть. Так было и с Игорем.

Наступил Великий пост. Игорь пытался поститься. Смог отказаться от наркотиков. Все, конечно, делал неправильно – надо было часто ходить в церковь, исповедоваться, причащаться. Уверена, что он этого не делал. Плюс в голове был компот – перечитала тут старое интервью с ним.

То есть он был совершенно безоружен. И вот бесы напали на него в ночь на Великий понедельник. Он оказался в одном клубе, где собирались байкеры. Встретил своего драгдиллера. И в итоге сделал себе укол.

Не буду говорить о своих домыслах относительного того, как именно борол его бес. Расскажу только факты. Он поехал домой. Выпил водки. Он был «вшит» и думал, что сейчас ему станет плохо. Вызвали скорую. Врачи приехали, но его не забрали. А утром, в восемь утра, позвонил его отец и сказал, что Игорь выбросился из окна.

Потом была какая-то беготня со справкой о том, что Игорь состоял на учете в психдиспансере (а кто из музыкантов того поколения не состоял? Многие «косили» от армии) для Патриархии, там в соответствии со справкой дали разрешение на заочное отпевание (и все наше христианство было тогда таким, как это разрешение), и вот наступил день похорон, и я впервые в жизни вошла в его квартиру, располагавшуюся где-то на окраине, а потом и в его комнату, откуда он выбросился из окна.

Дверь открывалась вовнутрь. Войдя, увидела сперва его кровать, потом повернулась к ней спиной и посмотрела на противоположную стену. С нее на меня смотрело большое, как плакат, Сашино фото. На этом фото он улыбается и показывает большой палец – дескать, все здорово, класс!

И я испугалась.

Как и Саше в момент смерти, Игорю было двадцать семь лет. Он любил Сашины песни, а также Моррисона, Хендрикса, Дженис Джоплин и Брайана Джонса. Все вместе, а также Курт Кобейн, присоединившийся к ним чуть позже, и еще некоторое количество не столь известных личностей, они составляют так называемый «Клуб 27» – потому что все они ушли из жизни в этом возрасте. И вот тут начинается самое интересное.

Икарушка

«За что, скажи, Икарушка, тебе такая карушка», – вспоминается речитатив, придуманный одним ленинградским затейником, Сашиным товарищем Володей Сорокиным по прозвищу Капитан, которого уже несколько лет нет на этом свете, и я поминаю его на Псалтири в списке «аще угодно».

Основанием для поминовения является тот факт, что Сорокина отпевали (я специально узнавала), но мне из всех его духовных исканий помнится лишь гора травы на кухне под газеткой, детский рисунок на стене старой питерской коммуналки – летчик в шлеме летит в самолете – с подписью «АС Пушкин» и какая-то явно мистическая способность периодически попадать в точку событий, вот как с этим «Икарушкой», посвященным Саше.

Надо сказать пару слов про Икара. Этот персонаж древнегреческой мифологии был сыном афинского художника и выдающегося инженера и погиб при попытке побега из плена на крыльях, сконструированных отцом, когда, несмотря на все его призывы руководствоваться здравым смыслом и лететь ни низко, ни высоко, Икар не послушал его и стал взлетать выше и выше. В результате солнце растопило воск, из которого были сделаны крылья, Икар упал в море и разбился.

В наше время Икар считался положительным образом.

Теперь читаешь заново знакомый, но забытый языческий миф и думаешь: зачем Икарушки летели к солнцу, на верную гибель? Почему не слушали своих родителей и взбунтовались против них? Чего они вообще хотели?

Вот Саша дает интервью американской девушке Джоанне Стингрей – это май 1986 года (он еще не понял, что утратил свой дар, не ощутил свою потерю, и интервью заканчивается тем, что Джоанна и ее сестра переговариваются между собой: «он счастливый человек» – «да, он производит впечатление совершенно счастливого человека», что им странно, потому что он без крова и бедный).

Джоанна спрашивает:

– Что для тебя более важно: твоя подача, пение или поэзия?

Он отвечает:

– Ну, spirit. Дух.

О том, что это за дух, становится понятно не только из песен его, но и из другого интервью, на год позже.

Читаешь, и физически чувствуешь тоску и напряжение.

Он говорит как-то свысока, надменно, как будто бы сам себе:

«Я на уровне синтаксиса как-то уже перестал мыслить, я мыслю (если это можно так назвать) на уровне морфологии: корней, суффиксов, приставок. Все происходит из корня.

Вот недавно одна моя знакомая сдавала зачет по атеизму. Перед ней стоял такой вопрос: «Основная религия». Я ей сказал: «Ты не мудри. Скажи им, что существует Имя Имён (если помнишь, у меня есть песня по этому поводу). Это Имя Имён можно представить как некий корень, которым является буддизм, суффиксом у него является ислам, окончанием – христианство, а приставки – иудаизм, ересь и современный модерн. Понимаешь? Я вот так примерно мыслю – на уровне морфем».

Знакомая – это имелась ввиду я, и откуда он взял буддизм в качестве корня, понятия не имею – в жизни он им не увлекался, но в формуле, которую он приводит, можно поменять местами все составляющие. Тут важно другое – сам принцип.

То, что так вымученно, тяжело, словно сам не свой, говорит Саша (тогда я списывала его состояние на творческий кризис, неудачное выступление на рок-фестивале в Питере, некое духовное одиночество – у него и в самом деле не было никого, кроме меня, кто был бы ему хоть сколько-нибудь предан) и есть новейшее язычество: фальшивые ключи от мира, протянутые дьяволом.

Они все – весь клуб «27», да и не только они, просто на них это особенно заметно – заключили союз с ним в обмен на обещание, что все узнают – узнают, как устроен мир и *станут как боги*. «И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло»[15]. Взамен он забрал жизнь.

Дьявол обманул. Но пришло время расплаты.

«За что, скажи, Икарушка, тебе такая карушка?»

«Отмени мою подписку на Воскресение. Отошли мои документы в следственную тюрьму. У меня там есть парочка друзей».

Буди имя Господне благословенно

Твой медный профиль выступает из стены. Я увижу его послезавтра, когда вернувшись из нашей деревни дачи в город, пойду перед московским поездом в храм.

В этом году я впервые за почти тридцать лет провела здесь почти столько же времени, сколько летом 1987 года.

Господь сподобил меня дойти до Шужгоры, – туда, где спят под спудом мощи преподобного Даниила. Нигде и никогда мне не хотелось так молиться, как на ее сияющей вершине, среди осыпающихся развалин храма, с тихим шелестом теряющего обломки кирпичей и деревьев, выросших в стенах, где веками, пока не началась чума революции, молился народ Божий.

И может быть, кто-то из твоих дедов.

На самом деле мы оба знаем, что тогда, в деревне, ты все-таки написал песню – «Архипелаг Гуляк».

Она не сохранилась, и я помню только две строчки. «Чума, чума в индустриальном голоде» и «Весь мир на ладони войны – покажи ей кулак».

Мы и жили с тобой в этом голоде – без Креста и Христа, сказавшего: «Аз есмь Хлеб Жизни».

Ты говорил во всех интервью о важности корня – и корень твой лежал здесь, среди руин этих храмов, в этой земле, откуда поспешили уйти в индустриальные города твои не хотевшие ничего плохого бабушки, дедушки и родители.

Они говорили тебе – не лети ни низко, не высоко, потому что, если будешь лететь низко, море намочит перья, а высоко – солнце растопит воск. Они больше ничего не знали и заботились о тебе, как могли.

Но ты хотел вырваться из плена «хорошей жизни», оставить земле кирпичи и воспарить к небесам, – ко Господу рвалась твоя бессмертная душа. Но тебя уловил дьявол.

Ты не был ничем защищен – тебя, как и меня, и миллионы нас, – не крестили в детстве, не причащали, не читали нам на ночь жития святых, не рассказывали об Аврааме и Саре, о Лоте, об Иисуса Навине, об Исааке. Не читали Евангелия.

И когда пришел злой дух, он увидел святое место – душу твою живую – пустой и чисто выметенной. И очень красивой.

Ты был талантлив, и наверно, поэтому он выбрал тебя – потому что завладев тобой, можно было многих разрушить. А может быть, не только поэтому, и было еще что-то, в предыдущих поколениях, что-то дававшее ему на тебя права.

Ты же искал какой-то встречи – искал Духа, и – и дьявол обманул тебя, и ты согласился с ним – потому что хотел *все узнать*. И так страшно ошибся.

Тот батюшка, с котором мы ходили молиться на Шужгору, говорит, что увидел в твоих стихах самое главное то, что сделалось с русской душой, — она заболела беснованием, и ещё то, как твоя душа боролась с врагом, – из последних сил.

Я тоже помню, как ты пытался пойти в храм, но уже не мог – тебя не пускало. А я не пошла с тобой. Помню, как ждала тебя в читальном зале ВТО, –готовилась к экзамену, и не знала, что самый главный экзамен только что провалила.

И ты пришел из церкви в Брюсовом переулке, и куртка твоя – та, что потом осталась висеть в стенном шкафу, когда ты покончил собой – была закапана. На улице не было дождя, и я поняла, что слезами.

«Саша, ты плакал? Что случилось, что сказали тебе, что там было?» Ты молчал как немой, и немым было твое лицо и твои прекрасные глаза. Это было, наверное, меньше чем за месяц до твоей смерти.

Прости меня, – там, где ты есть, и если ты меня слышишь.

Я опять видела это свечение, Саша. Дважды. Я даже сфотографировала его. Значит, преподобный Даниил борется за нас. И может быть, еще не довершилась твоя участь, и может быть, еще остается и для тебя надежда.

Не в том смысле, что «Бог добрый и всех прощает».

«Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, за вину отцов наказывающий детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи *родов* любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои», – вот где подсказка. Но уже не тебе, а нам.

Часть III

«Готово сердце мое Боже, готово сердце мое: воспою и пою во славе моей»[16]

Лесная служба

И вот мы пошли по тропе, уходившей в лес. Мы шли, и глубокая, жирная грязь разъезжалась под ногами, норовила стянуть с ног сапоги. Звенели комары. Справа и слева шла какая-то невидная, непонятная жизнь – кто-то вспархивал, улетал энергично, что-то потрескивало, кто-то пробегал, виднелись яркие шапки грибов – мухоморов и даже подберезовиков, но мы не останавливались и шли, потому что нужно было успеть дойти, пока не стемнело. Рюкзак резал плечи, идти было далеко. Не помню, о чем именно я думала, пока шла – наверное, потому, что больше молилась, пела себе под нос Иисусову молитву на распев, который услышала недавно. Батюшка, легкий на ногу, держался впереди, иногда останавливался, ждал. Может, я думала о смирении – хорошую книгу как раз начала читать. Немного – о преподобном Данииле. О страхованиях, которые, как я слыхала, бывают, когда идешь молиться в такие места. Слишком длинная юбка моя – неопытный все же человек – намокала в лужах тяжелым краем.

Часа через полтора вышли на лужайку и миновав ее, оказались в темном лесу – еловом. Мохнатые лапы, темная зелень, замшелые стволы. В прогалине, на ходу, сфотографировала странное дерево – высохшие его ветви словно застыли в пляске, – велесов танцор. Мы шли и шли, и вдруг…

Не знаю, как рассказать это, но все вдруг изменилось – как будто была незаметно перейдена граница другого мира. Мы вышли из темного леса, и открылся вид на холм, и у меня перехватило дыхание. Этот холм словно сиял в рассеянном сумеречном свете, словно сам светился. Конечно, это можно объяснить вполне прозаично – доцветал лиловый иван-чай, уже показались на нем его плодовые пушинки, и наверно, они-то и давали это сияние, но оно было, и не важно как.

Сиял лиловый таинственный холм, и зеленая дорога звала на его вершину, где среди деревьев уже был различим в какой-то тоже сияющей дымки рыжеватый кирпичный остов храма.

Это было как в детстве – или в фильме про детство, когда перепачканные путешественники достигают границы, откуда видна уже чудесная земля, и сердце замирает от Божественной красоты и невесомой радости: свершилось!

И набрав воды в святом источнике, – том самом, над котором в восьмидесятых Анатолий видел молящегося монаха, – мы устремились по зеленой дороге, поднимавшейся вверх. И странно – рюкзак уже не резал плечи, и шагалось легко, и казалось, что мы плывем, а не идем.

Я опишу все подробно, как было.

Поднялись к храму. Измученный, порушенный, едва живой, он стоял, как старый-старый солдат, который скорее умрет, чем сдастся. Хотелось обнять его – так его было жалко. Тихонько шуршали опадающие кирпичи – они падают там как листья, тихо и безвольно, кусочками из стены, если заденешь неловко, даже просто подолом, а иногда – сами. Батюшка сказал – нужно отдохнуть, поэтому мы спустимся немножко, сделаем костер, поедим, и потом, около часа ночи начнем службу.

А мне уходить не хотелось. Со мной так не бывает – я всегда хочу присесть, прилечь, поесть, попить, снять рюкзак, домой и почти никогда не хочу молиться. А тут происходило что-то необыкновенное. Хотелось там быть. И именно хотелось молиться. Не зачем-то, а просто тихо звенела душа.

Мы смотрели со стен вниз – солнце садилось за леса, они темнели, синели, наполнялись ночью. Отходили от стен, ходили по храму, легонечко прикасались.

«Батюшка, где?» – спросила, не договаривая, и так понятно, о чем я.

«Да вот, наверное, здесь, – тут был придел Даниила Столпника, значит, и он где-то тут». Вот прямо тут? Это поразительнее, чем видеть мощи в раке – вот прямо там, под землей, под этой грудой? Фотографирую, но что передаст картинка? Передаст ли, как поет сердце, и радуется душа? Преподобный Даниил, здравствуй!

К стене прислонен металлический крест – накупольный. Темновато, но я снимаю, а потом, уже дома, вижу, что на снимке он выходит тоже окруженный каким-то сиянием.

Выходим из храма, – трижды крестимся на выщербленные врата – спускаемся ниже, в деревья. Собираем хворост – всюду лежат сухие ветки – разжигаем костер. Батюшка уходит к источнику за водою, наказав мне следить за костром, а мне вдруг делается страшновато – я снова пою

Иисусову молитву, и даже погромче, чем в лесу, подкладываю в костер ветки, чтобы горел посильнее, снова пою молитву, ветки кончаются, – уже почти темно, – собираю еще, и наконец возвращается батюшка.

Тихо, – так тихо, будто звуков и вовсе нет, только ветер иногда проходит дуновением, словно кто-то – мимо. Мы жарим на костре выхваченный на ходу из леса подберезовик, печем картошку. Сейчас я чувствую, как устала – десять раз извинившись, лежу на спальнике, пока печется картошка. Дремлется чутко, – так, что и отдыхаешь, и слышишь все вокруг.

Наконец, пора – мы поднимаемся и идем наверх, к храму. Там, в центральном приделе, над которым давно нет крыши – бархатная тьма, деревья с замшелой корой – выше стен, поскрипывают в темноте. Снова дуновениями проходит ветер. В проеме дальней стены вдруг появляется желтый фонарик – я бегу смотреть – оказывается, это луна встает за лесом.

Чутко и радостно дышит сердце. Все таинственно, сокровенно. Батюшка вешает на сосну епитрахиль, раскладывает на пеньке богослужебные книги, достает кадило. Потом мы еще ждем, отдыхаем немного. Я снова ложусь на спальник, и в тишине мне кажется, что я слышу, как слева от меня кто-то проходит легкими ногами.

Служить будем не здесь, а в пределе Даниила Столпника – батюшка облачается, несем туда книги. Под сводами в свете фонарика вдруг кто-то проносится, слепо ныряя в развеявшейся ненадолго темноте – это летучая мышь, удивительно, но они водятся в Белозерском крае. Второй час ночи. Батюшка начинает всенощное бдение, и эти стены снова слышат такое редкое теперь для них святое слово: «Благословен Бог наш!»

Я плохонько откликаюсь за хор – «всегда, ныне и присно и вовеки веков!»

Эта служба будет длиться долго, словно несколько столетий – по часу за каждый, минувший с шестнадцатого, век – и быстро, как вдох, выдох и снова вдох. Только раз мне, вне всякой моей воли, захочется спать так, что не будет сил противостоять, – хоть закрывай глаза, хоть открывай, сейчас рухну – но тут батюшка обернется и покажет глазами на Псалтирь, – «читайте» – и вечно свежий ветер это Книги пробудит меня.

Потом я, горе-фотограф, буду пытаться снимать в темноте – и опять сияющим окажется прислоненный к стене крест, а когда наступит утро, солнечный луч загорится именно там, где он стоит.

А до этого, на Великом славословии, прямо на словах «Слава Тебе, показавшему нам свет», среди посветлевшего дальнего леса покажется вставшее торжествующее Солнце Правды.

[1] Исх. 20:5,6

[2] Утренняя молитва прп. Макария Великого

[3] Рим. 12:1

[4] Ин. 1:5

[5] Исх. 20:2

[6] 2 Сол. 2:6

[7] Из проповеди старца Ефрема Филофейского и Аризонского

[8] Из песни Александра Башлачева «Время колокольчиков»

[9] Здесь и далее цитаты из книги иеромонаха Дамаскина (Кристенсена) «Не от мира сего»

[10] Из интервью Джима Моррисона

[11] Моррисон, Джордж Стивен контр-адмирал Военно-морских сил США и летчик морской авиации США. Был командующим военно-морскими силами США в Тонкинском заливе во время инцидента в Тонкинском заливе в августе 1964 года, который привел к эскалации Американского участия в войне во Вьетнаме.

[12] Ф.М. Достоевский «Братья Карамазовы»

[13] Здесь и далее названия песен Джима Моррисона и цитаты из них.

[14] Из книги иеромонаха Дамскина (Кристенсена) «Не от мира сего»

[15] Быт. 3:5

[16] Пс. 107:2